

Зия Самади

ИСПЫТАНИЕ БЕЗУМИЕМ

Авторизированный перевод с уйгурского Р. Петрова



ПЕВЕЦ СВОБОДЫ	3
I – ЧАСТЬ	5
«ТРИ КРАСНЫХ ЗНАМЕНИ»	5
КАДЫР, СОРВАВШИЙСЯ В ПРОПАСТЬ	8
ДЖИГИТ С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ.....	11
МИЛОСЕРДНАЯ ПРИНЦЕССА	13
БЕССТРАШНЫЙ ПЕВЕЦ	15
II – ЧАСТЬ	26
РАЗОРЕННОЕ ГНЕЗДО	26
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ	27
БЕЗ КРОВА В РОДНОМ КРАЮ	29
ФАЛЬШИВЫЕ СВОБОДЫ	32
СЕМНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ В ТЮРЬМЕ	36
ЛАГЕРЬ ШОБАХУ	42
ИСТОРИЯ ГУЛЬБАХАР	43
УЧИТЕЛЬ – КАРМАННЫЙ ВОР	46
НА ГРАНИ СМЕРТИ.....	58
III – ЧАСТЬ	60
«ТЮРЕМНЫЙ ВЫКОРМЫШ»	60
ПЕРВЫЙ ПРИСТУП	64
ВТОРОЙ ПРИСТУП.....	66
ТРЕТИЙ ПРИСТУП.....	70
ПОСЛЕДНИЙ ПРИСТУП.....	72

ПЕВЕЦ СВОБОДЫ

В 1964 году в Уйгурском театре (сейчас Кукольный театр на улице Пушкина) отмечался 50-тилетний юбилей писателя Зия Самади. Зал был полон. Тем, кто покинул Родину и переселился из Восточного Туркестана, юбиляр был хорошо знаком, а те, кто родился и вырос в Казахстане, тогда о нем еще мало что знали. В почетном президиуме сидел известный казахский писатель Габит Мусрепов. Обычно Габит Мусрепов очень редко посещал юбилеи даже известных отечественных писателей. Этот факт уже означал, что виновник этого торжества далеко не рядовой труженик пера. Некоторое время спустя после этого юбилея на суд читателей был представлен роман Зия Самади «Майимхан». Не только литературные критики, но и писатели, прочитавшие роман, не могли сдержать своих эмоциональных мнений. Специалисты языковеды, а также писатели отмечали необычайное богатство языка автора, многообразие удивительных красок мастера пера. Кроме того, тема, поднятая автором в романе «Майимхан», была революционно новой в уйгурской литературе, и потому в душе каждого читателя роман порождал чувства гордости и патриотизма.

Писатель, листая историю вековой давности, показал неустанную борьбу народа за независимость. Образ Майимхан, поднявшей знамя борьбы среди масс, стал символом, воодушевлявшим других на борьбу за независимость. Габит Мусрепов не случайно посетил юбилей писателя и произнес поздравительную речь. Время показало: какое место занимает в казахской литературе Габит Мусрепов, такое же место занимает Зия Самади в уйгурской литературе. Освободительная борьба, движение за национальное самоопределение становятся главной темой романа «Майимхан». В своем произведении писатель показал трудный исторический путь гордого народа, лучшие дети которого, несмотря на унижения и оскорбления, продолжают святое дело. Писатель показал нам самим, кто мы такие на самом деле, как наши предки в самых тяжелых условиях поднимались на борьбу за свободу. Читатель осознает, что достижение высоких целей возможно только под знаменем независимости. Для подтверждения приведу один пример.

В период нормализации отношений между СССР и Китаем, в первой половине 90–х годов, приехавший в Алматы ученый из Урумчи, просмотрев фильм «Год дракона», снятый по роману «Майимхан», сказал: «Нет необходимости агитировать наш народ подниматься на борьбу за независимость. Уйгурам достаточно посмотреть этот фильм».

Отличительная черта произведений Зия Самади – это особая сила агитационного, завораживающего влияния на читателей.

В результате широкомасштабного восстания в 1944 году, известного под названием Восстания Трех вилайатов, народ одержал победу. Но, не дав освободительному движению распространиться повсеместно, компартия Китая в 1949 году объявила Китай «Народной республикой».

Восточный Туркестан – Уйгурстан, ориентируясь на советские республики, выбрал путь соседних братских народов. Выбравший новый государственный строй, Уйгурстан надеялся наряду с другими республиками, такими как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, строить свое светлое будущее. Но китайские руководители, на словах объявив государственный строй народным, на деле не поменяли свою политику по отношению к неханским национальностям.

Результаты этой политики на себе пришлось испытать Зия Самади, как и другим борцам. Зия Самади был одним из активных участников «Восстания Трех вилайатов», занимал пост министра культуры, председателя краевого союза писателей и, тем не менее, открыто преследовался. Писатель не смог избежать тюремных казематов и ссылки

в результате ложно сфабрикованных обвинений. Если видный общественный деятель, писатель, широко известный своими произведениями народу, прошел такой тернистый путь, то что можно говорить о простых гражданах? Но люди все это терпят, все выдерживают, и считают все это испытаниями для них в предстоящей борьбе за свободу и независимость.

Когда мы читаем повести Зия Самади «Одна папироса» и «Испытание безумием», мы удивляемся стойкости героев Сали, Гульбахар, Ибрайим, которые остаются людьми несмотря ни на какие унижения и издевательства.

Мы по книгам и фильмам знаем о жестокости и безумии фашистов. В вышеназванных произведениях автор также показал палачей – это палачи нового времени.

Мы все помним события, произошедшие в июне месяце прошлого года в городе Урумчи. Мирной демонстрации молодежи, стремившейся довести до сведения властей свое положение, противостояли вооруженные до зубов военные. Все это завершилось настоящим истреблением демонстрантов. Позже оставшихся в живых участников демонстрации и сочувствующих им арестовали. По отношению к арестованным применялись всевозможные способы давления, допросы с пристрастием. Большинство арестованных были осуждены на длительные сроки, а многие получили высшую меру наказания через расстрел. Погружаясь в повесть «Испытание безумием», читатель реально представляет, что творится в застенках с уйгурскими заключенными.

Я очень рад, что повесть выходит на этот раз не только на уйгурском, но и на русском языке. Это особенно важно для нашей русскоязычной молодежи.

**Рабик ИСМАЙЛОВ,
(кандидат филологических наук)**

I – ЧАСТЬ

«ТРИ КРАСНЫХ ЗНАМЕНИ»

*В коммуны уйгуров силком сволокли,
На рабский, на каторжный труд обрекли.
Мы во время «большого скачка»
Заморенной скотиной легли.*

Эта частушка – стон народа, его скорбь... Нищету, разорение и голод принесла нам политика знаменитых «трех красных знамен»: «генеральной линии», «большого скачка» и «народных коммун».

Так начал Ибрагим свое скорбное повествование. Лицо его побледнело, в глазах вспыхнули злые огоньки, пальцы правой руки задрожали. Он глубоко вздохнул и продолжал:

Шел тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год. Выпал снег, наступили холода. Вроде не мешало бы после работы плошку зажечь, да «к чему песни, если в животе пусто?»: не было масла даже по губам помазать, вот мы и старались лечь пораньше. Все, кто мог трудиться, уходили с рассвета на общественные работы, а истопленное жилье вымерзло от стужи. Потому-то мы спешили по вечерам завернуться, не раздеваясь, в ватные одеяла.

Как бы ни устал человек, на голодный желудок сразу не уснешь. В «общем котле» – так называлась столовая народной коммуны гуншэ – на пустой воде готовили «похлебку» из молотых отрубей или варево из свекольных листьев, смешанных с кукурузным толокном. Этими яствами ограничивался наш рацион. Трудновато держаться на ногах, когда после тяжелой – с рассвета и до сумерек – работы подкрепишься двумя глиняными чашками невкусного пойла...

Уже за полночь, а мы все еще не спим. Наш дада – отец – хрипло кашляет, стонет и неразборчиво ворчит. Видно, ропщет на невзгоды, обрушившиеся на него в старости, жалеет, что когда-то появился на свет божий. Мать тем временем последними словами клянет всех известных ей начальников от руководителя коммуны до самого Мао Цзедунa: «Эта нечисть скоро загонит нас в хлев вместе с рабочим скотом! Да и то сказать, чем мы отличаемся от скотины?..». Мама у нас отважная, неустрашимая. Когда создавали коммуну и отбирали у людей не только скот, но даже казаны и кастрюли, даже кур и петухов, мама встала в дверях хлева: «Хе! Так я и отдала горбом нажитую корову! Бессовестные, хотите лишить нас последнего, заставить питаться лягушками – пусть ими лакомятся пришельцы из застенного Китая!..». За «оскорбление республики» ее десять дней продержали под арестом, заставили «покаяться» перед членами коммуны и освободили с условием «испытать в труде». Однако маму усмирить невозможно; язык ее обузданию не поддался. И на работе и за обедом она, знай, отпускала шпильки в адрес больших и малых руководителей коммуны. Чего только не натворила бы наша бесстрашная мама, если бы не уговоры осторожного отца, и если бы сама она не боялась за нас с братом: глядишь, и нагрянет по чьему-нибудь злomu навету новая нежданная беда... Но я, кажется немного отвлекся?

– Продолжайте, продолжайте, Ибрагим. Лирические отступления – естественная вещь в любом рассказе, – отозвался я.

Кто-то подергал засов. Отец высунул голову из-под одеяла и сразу же зашелся в кашле, – наверное, от холодного воздуха.

– Дада, не беспокойся, лежи, я открою.

– Не надо, сынок. Там наверняка «от куйрук»¹ Хевиз, китайский прихвостень.

Рыщет, как пес по помойке, бегаёт от дома к дому, шарит, вынюхивает, – заворчала мама, поднимаясь с постели.

– Открой немедленно! – услышался повелительный голос. Не слушая маму, говорившую: «Зачем открывать, чего бояться, все равно нет ни скота в загоне, ни денег в сундуке...» – я выскочил из дома, дрожащими руками кое-как отодвинул засов ворот... Глаза мои ослепил луч карманного фонарика.

– У, отсталые элементы, забрались в берлогу, как медведи! – услышал я сперва, потом полилась отвратительная заборная брань. Мама была права: это к нам явился окаянный Хевиз в сопровождении четырех вооруженных солдат.

– А старые недоумки дома? – Его грубость и наглость потрясли меня, я замер на месте.

– Чего торчишь, смутьян? Веди в дом! – приказал Хевиз–дуйчжан (он ведь был у нас начальником команды).

Я повернулся и пошел обратно.

– Это жилье или могила, почему свет не горит? – Хевиз, еще не переступив порога, ручным фонариком высвечивал все углы комнаты.

– А что нам жечь? Все давным-давно подобрали твои обжоры! Не суй мне в глаза эту железную ослиную ногу! – огрызнулась мама.

– Ты и так похожа на привидение, вылезшее из могилы, а все никак не уймешься, старая дура! Посмотрю я, как ты сейчас запоешь...

– Ой–ой... Испугалась я китайского холуя!

Солдаты рванулись к матери.

– Мама, не произноси ненужных слов, – испугался я.

– Не трусь, заячье сердце! Зря вы зоветесь мужчинами! Настал день, и я увидела, что вы пададь!..

«Мама, милая мама, ты сказала правду, мы действительно пададь!» – прошептал я про себя.

– Вставай, старуха! Твоей мудростью наслаются узники Караоя! – крикнул Хевиз и сделал знак солдатам.

– Караоя? – Я задрожал. В Караое, по слухам, был трудовой лагерь с таким жестоким режимом, что оттуда не возвращались.

– Не в Пекин же вести эту полоумную!

– Но за что вы отправляете ее туда?

– Это – указание свыше: доставить в Караой твоих родителей...

– А я, я? Что бы ни случилось, мы должны быть вместе!

– Не торопись, найдется местечко и для тебя...

Прошло каких-нибудь десять минут, и я уже брел вслед за солдатами, гнавшими перед собой отца и мать с маленькой сумкой в руках. У перекрестка мама остановилась, резко повернулась, посмотрела на меня:

– Эй, ты чего плетешься за мной как телок? Хоть день еще проживи на воле в родном доме! Присмотри за младшим!

¹ От куйрук (уйгурск.) – дословно «горячий хвост», так прозвали выслуживающихся перед маоистами доносчиков и клеветников.

Договорить мама не смогла. В ее дрогнувшем голосе послышалась отчаянная боль, она умолкла, видно, перехватило дыхание. Я замер посреди улицы, как вбитый в землю кол. В ушах все еще звучали горькие слова: «Настал день, и я увидела, что вы падаль».

Как говорится, беда не приходит одна. В ту проклятую ночь разлучили с маленькими детьми и угнали в караойский лагерь моего дядю Исмаила, тетушку Мариям, старшую сестру Хеличам с мужем Курваном. Я совсем растерялся и не знал, что предпринять. Вообще-то не было ничего удивительного в том, что моих родителей и родственников забрали в караойский лагерь: десятки трудовых лагерей в округе были заполнены простыми людьми. Их считали «вредными элементами», «подозрительными личностями», не отдавшими свое сердце Мао-чжуси – председателю Мао, не признавшими «старших братьев-китайцев», не склонившими головы перед ними и не освободившими для них тотчас же свои жилища...

Перед рассветом громом разнесся стук барабанов. Он напоминал шабаши нечистой силы из детских сказок. Точно так же колотили в барабаны и кастрюли три месяца назад, во время движения за истребление одного из «четырёх зол» – воробьев. Такой же грохот производили тогда «во всеобщем наступлении» все люди – от семи до семидесяти лет, вооружившиеся пустыми ведрами, мисками, жестяными тарелками и прочим аналогичными предметами. Это был способ изгнать «злостных врагов» из гнезд, чтобы после непрерывного кружения в небе они пали замертво наземь. Стоит ли говорить, что в тот день в городе Чугучаке и его окрестностях были вытоптаны и опустошены сады, цветники, лужайки... В результате чудовищного «похода» вместе с воробьями погибли и соловьи...

Уничтожили, можно сказать, все живое, входившее в разряд так называемых «четырёх зол». Ворон, например, – даже их гнезда на деревьях разорили все до единого. А несколько дней тому назад заговорили о «повторном наступлении на мышей», но попробуй разыскать и разрыть укрытые под снегом мышиные норы...

«Тарбагатайская газета» сообщила на прошлой неделе, что в Дурбульджинском уезде один четырехлетний мальчик нашел в мышиной норе два хо² пшеницы. Газета восторженно прославляла находку как «великую революционную победу» и призывала брать пример с малыша. Точно такие же агитки с «примерами» публиковали и тогда, когда призывали истребить мух. Храбрецы, уничтожившие мух сверх заданной нормы, ездили в путешествие аж до самого Пекина, удостоились лицезрения «лучезарного облика» «великого вождя» и даже счастья сфотографироваться вместе с ним. В числе таких «ударников по мухам» был и наш земляк Барат-таз³.

...Слушая грохот барабанов, я пытался угадать, какие новые несчастья обрушатся сейчас на наши головы. Беспокойные мысли прервал чей-то громкий голос:

– Ибраим!

Если затаюсь в темноте, будет скандал. Я рванул наружу...

Во главе толпы шествовал десяток барабанщиков, колотивших что есть силы в большие и малые барабаны; за ними двигались китайцы, уйгуры, монголы, казахи, извивались, растопыривая ноги, так, чтобы приноровить китайский танец-шествие «янге» к однообразному «гуп-пан-гуп» – стуку барабанов; шедшие за ними шеренги заполняли всю улицу, эти маршировали, по-военному стройно выкрикивали лозунги, потрясали флагами и плакатами с громогласными призывами типа: «В поход за сталь!», «Да здравствуют «три красных знамени!»», «Большой скачок!», «Да здравствует великий вождь председатель Мао!». В самом конце колонны тянулись ряды навьюченных животных, арбы и сани, груженные продовольствием, зерном, сеном. Подобным

² Хо – четыре пуда.

³ Таз – парша, больной паршой.

шумным, «великим походам» не было видно тогда ни конца, ни края. Казалось, будто всколыхнулся и поднялся, точно в сказке, весь народ.

Цзучжан – руководитель группы – сделал мне знак встать в колонну. Я пошел в людском караване, как теленок, выгнанный в стадо, не зная, куда и для чего идти. В шеренгах обычно не спрашивают, куда гонят. Попробуй только поинтересоваться – тебя наверняка объявят подстрекателем.

Мы вышли из города и спустились в долину. С севера ударил студёный ветер, тело сразу же пронзила дрожь, из глаз потекли слезы. Одежда на всех была убогая, драная. Но ослаблять «революционную волю» нельзя, нужно упорно шагать вперед, только вперед!.. Природа, видимо, решила подшутить над поработителями: чем дальше мы шли, тем чаще и громче кашляли люди, и кашель постепенно заглушил «революционные» барабаны. Однако все равно не было ни одного отставшего, не прозвучал ни единый призыв о помощи. Мы продолжали шествовать вперед под звуки кашля и барабанов.

КАДЫР, СОРВАВШИЙСЯ В ПРОПАСТЬ

К вечеру второго дня мы достигли места стоянки. Все ли участники «великого похода» добрались сюда – не знаю, видел лишь, как упали ничком на сверкающий снег несколько человек из тех, кто был постарше и одет похуже, и как на них набросились скопом бригадиры–дуйчжаны и цзучжаны. Некоторые, хоть и дошли до гор, да застудили в пути легкие и сразу же слегли. Надеяться, что здесь их поместят в какое-нибудь жилье, не приходилось. Жизнь этих несчастных была, конечно же, препоручена «могучей силе» учения председателя Мао...

«Движение за выплавку стали» осуществлялось на военный манер. Из нашей большой группы сформировали полк, для управления им образовали полковой штаб с командирами батальонов, рот, взводов. Ходить и стоять, ложиться и вставать, работать и питаться – все заставляли делать только по команде; трудовой темп был невероятно напряженным. На ежевечерних собраниях разбирались результаты дневной работы, делались выводы, и тогда обязательно доставалось таким, как я, – «проходящим проверку» «правым националистам». Нас обвиняли в плохой работе. Оскорбляли, в общем, клевали и клевали, мытарили и мытарили...

Нашим пайчжаном – командиром взвода – оказался тот самый Барат, удостоенный «счастья» съездить в Пекин. Его прозвали мухой. Этот невзрачный человек с мерзким нравом полностью соответствовал своему прозвищу – с утра и до ночи он кружился вокруг нас, как гадкая муха, и зудел, зудел... Ночью Барат по два-три раза пересчитывал спящих, проверяя, все ли на месте. Он обращался к нам не по именам, а с разными отвратительными кличками, усвоенными им от учителей: «националист», «ревизионист», «враждебный элемент»... «Таких националистов нужно заставить работать с десятифунтовыми кандалами на ногах, – жужжал он. – Радуйтесь, господа образованные, что только по доброте отца нашего председателя Мао дышите вольным воздухом! Будь моя воля – днем запрягал бы вас в телеги, а по ночам лед заставлял крошить..

Мы трудились в очень опасном месте. Вгрызаясь в крутой склон, копали руду, нагружали ею сплетенные из тальника корзины, взваливали их на себя, несли вниз и высыпали в печи, выплавлявшие сталь. Однажды случилось такое, чего мне никогда не забыть.

Еще не рассвело, но уже прозвучал обычный свисток. Нас как ветром выдуло наружу. После построения и пересчета Барат–Муха объявил:

– Сегодняшняя боевая задача – сделать до утреннего чая по две ходки! Норма повышается с шестидесяти до восьмидесяти цзиней⁴ ...

– Теперь уж точно сдохнем от натуги, – тихонько толкнул меня локтем в бок Кадыр. Я сжал его руку – стой, мол, тихо. Кадыр – молодой парень, горяч, прям, ему трудно молча сносить издевательства. Сколько раз он уже схватывался с Баратом! За это на общих сборищах дважды объявляли борьбу против Кадыра, заковывали беднягу в кандалы и спускали на неделю в шахту носить руду. Кадыру только что исполнилось восемнадцать, он едва успел закончить Чугучакскую городскую среднюю школу и сразу же стал жертвой «борьбы против местного национализма», или, как у нас говорили, «надел колпак националиста». Кто-то донес на Кадыра, услышав, как тот сказал: «Эти ненасытные задумали известить всех наших национальных руководителей по одному».

– Не вертите бедрами, как кучарские красотки, марш вперед! – приказал Барат. Кадыр не сдержался:

– Эти вонючие речи – твое собственное изобретение или чжангуйды⁵ уже с утра накачали тебя?

– А, тебе мало прежних наказаний, смутьян! Ростом с локоток, нахальства до неба, да? – завизжал Барат, вытолкнул Кадыра из строя, оттащил в сторону и, брызжа слюной от злобы, приказал помощникам:

– Нацепите-ка на ноги этому негодяю кандалы в десять цзиней!

Заступить мы не могли. Стояли молча, с трудом подавляя гнев и ненависть. Попробуй, пикни в защиту Кадыра – тут же и тебя закуют в кандалы, навесят обвинение в «организованном сопротивлении» и отправишься под землю, в шахту с названием «Спустишься – не выйдешь». Ее боялись пуще всего.

Сейчас, когда я пришел в себя и могу уже трезво обо всем размышлять, я полагаю: мы до сих пор не избавились от оков по одной-единственной причине – из-за собственной трусости... А вы как считаете?

– Великие мудрецы не зря говорили: трус – предаст, бесчестный – продаст, – ответил я неохотно и уклончиво.

Ибрагим долго думал, может быть, постигая смысл моих слов, а может, вспоминая былое. Потом он снова заговорил:

Кадыр, звеня тяжелыми кандалами, шел впереди колонны. И этот звон всякий раз отдавался в наших сердцах острой болью. Чтобы помучить Кадыра, Барат и его помощники заставляли остальных идти быстрее. Руду, как я уже говорил, копали в горах, дорога круто поднималась вверх, идти становилось все труднее. Кадыр наконец выбился из сил, зашатался и упал. Послышался гнусавый голос Барата:

– Вставай, смутьян, отстанешь – сброшу в яму, будешь валяться, пока не сдохнешь!

Четыре раза спотыкался и падал Кадыр, и все четыре раза разносились по горам мерзкие ругательства Барата.

Пока добрались до выработок, рассвело. Кадыр ковылял позади. Небо стояло над нами высокое, ясное. Белые пушистые облака точно чалмой обвивали вершины гор. Вот под первыми лучами солнца засветились, зарозовели высокие хребты. Через несколько минут солнце ярко окрасило склоны, поросшие елями и соснами. Огибая облака, теперь уже пунцовые, пролетел над хребтами орел, его сильные крылья искрились в золотом свете и слепили глаза. Но эта сияющая красота не сулила успокоения – контраст между ней и нашими муками был слишком велик: еще тяжелее, еще больнее стало каждому.

⁴ Цзинь – китайская мера веса, около 590 граммов.

⁵ Чжангуйды – хозяин, хозяйка (китайск.)

– На загрузку корзин даю пятнадцать минут. Засекаю время! – Барат взглянул на часы. – Предупреждаю: норма – сто цзиней.

Он снова посмотрел на часы. Подаренные маоистами, эти проклятые испорченные часы шли всегда во вред нам, будто совершая «большие скачки». Безграмотный Барат-Муха робел перед цифрами и на самом деле определял время приблизительно, поглядывая то на солнце в небе, то на циферблат.

Взяв свои привычные мотыги, мы приступили к работе. Кадыр тоже принялся копать руду, брэнча кандалами. Он поднимал мотыгу высоко и изо всех сил ударял по камням – словно яростно обрушивал дубину на вражьи головы. От злости или от натуги его славное, почти детское лицо раскраснелось, веселые глаза потемнели от ненависти, а тонкие, нервно закушенные губы шептали проклятия – он был близко от меня, и я слышал: «Это... для осла Мао, это... для ослицы Мао,.. а это – для национальных предателей».

– Эй, смутьян, не скули, как щенок, родившийся в холода, работай быстрее! – прикрикнул на него Барат.

Ни тяготы, ни насилие не сломят дух человека с сильной волей. По-юношески хрупкий Кадырджан терпеливо переносил любые истязания и не гнулся перед насильниками.

– Я-то родился не в холода, – он пристально взглянул на Барата горящими глазами, – зато ты наверняка появился на свет в китайский чаган⁶!

Барат, видно, не понял колкости Кадыра, а может, ему, безнадежно стремившемуся стать «истинным» китайцем, пришла по душе мысль, что он родился в день чагана, – так или иначе, но он не ударил Кадыра. Только и сказал:

– Перестань болтать, смутьян, занимайся делом.

Пока наковыряешь мотыгой сто цзиней каменных осколков – а это составляет более пятидесяти килограммов – и, обливаясь потом, погрузишь их в корзину, совсем выбьешься из сил. Будто все жизненные соки выходят из тебя с соленым потом, руки и ноги повисают, как плети, дрожат мелкой дрожью, в глазах темнеет. Хочется только одного – чтоб поскорее вылетела душа из тела. Но душа все-таки дорога каждому; недаром говорится: «В живой душе живет надежда». Надежда и вера в лучшее будущее возвращают силы, помогают одолеть любые трудности.

Самым проворным и энергичным среди нас сегодня был Кадыр. Он работал воодушевленнее и быстрее всех. «Старайтесь, братья, старайтесь, – насмешничал он. – Не уберегли от чжангуйды землю и воду, надо ли жалеть поганую силу...».

Взвалив на плечи корзины, точно караван груженых углем ослов, мы потянулись вниз по отвесной дороге. Когда спускаешься по крутизне, груз давит на ноги и заставляет клониться то в одну, то в другую сторону. Опасен каждый шаг: чуть потеряешь равновесие – и полетишь, кувыряясь, в пропасть. Все боялись за Кадыра, скованного кандалами, больше, чем за себя. Перед спуском с горы человек тридцать попросили Барата-Муху расковать Кадыра. Он ответил:

– Это вам не браслеты, которые снимают ваши матери, когда месят тесто. Это инструмент выпрямления идеологии! Понятно? – И ехидно засмеялся.

– Барат сказал верно: «наш отец» председатель Мао приказал создать эти благословенные оковы специально для уйгурского народа, и мы принимаем их, как украшение! – иронически заметил Кадыр.

– Ну, смутьян, придется, видно, тебе и рот заковать, – пригрозил Барат-Муха.

⁶ Чаган – китайский национальный праздник, Новый год, отмечается в феврале.

Мы спускались по склону много раз в день и хорошо знали путь: восемьдесят шагов – и будет лощина, дальше пойдет прямая дорога. Этот крутой спуск до лощины мы называли «мостом через геенну огненную»; наверное, по острию сабли пройти, не поскользнувшись, легче, чем по нему. К тому же в загробном мире, где якобы существует такой мост, через геенну огненную тебя переправят на другой берег принесенные в жертву бараны и овцы. А по китайскому «мосту» нужно идти с тяжелым грузом на плечах – это куда труднее!

Еще восемьдесят шагов? Да! И каждый шаг – ступенька к смерти.

Каждый шаг – испытание. Напрягаются тайные силы человеческого организма. Каждый раз мы отсчитывали шаги: семьдесят девять, семьдесят восемь...

– Кадыр! Кадырджан!

Отчаянный, леденящий душу вопль смешался с грохотом потревоженных камней, рождая громкое эхо в горах. Тот страшный крик до сих пор слышится мне по ночам.

Не помню, как я добрался тогда до лощины. Мертвый, изувеченный, Кадырджан лежал на спине. На лице его застыла ироническая усмешка, та самая, с которой он говорил: «Старайтесь, братья, старайтесь. Не уберегли от чжангуйды землю и воду, надо ли жалеть поганую силу...»

ДЖИГИТ С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ

*Камни кирками долбим,
Босые, едва бредем.
Голодные, больные,
Поклоны «хозяину» бьем.*

Эту частушку сложили во времена «большого скачка»... По утрам, до выхода на работу, нас обыкновенно выстраивали перед вышитым на цветном войлоке огромным портретом Мао, чтобы трижды поклониться ему. Маоисты втолковывали нам, что кланяться портрету Мао – значит, выражать безграничную преданность вождю, а с чувством этой преданности человек становится даже физически крепче... По вечерам лечь спать разрешалось тоже только после очередных поклонов портрету-иконе. Усталый человек с наслаждением заснет и на гравии, подложив камень под голову. Мы так и спали – в похожих на ямы лачугах, не раздеваясь, на еловых ветках, с камнем под головой. В те дни не было ничего дороже сна. Самая тяжелая из мук – когда он пропадает!.. Я, наверное, заснул, как мертвый, потому что меня на силу разбудил монгольский джигит Ердя:

– Тебя и не поднимешь! – тихонько ворчал он.

Опасаясь осведомителей-активистов (намеренно искажая русское слово «актив», их называли «актук», что означает «белая волосинка»), мы по ночам не говорили, а шептались, приставив кулак к уху друга.

– Что случилось? Почему не спишь?

– Слушай! – прошептал Ердя.

– Ничего не слышу.

– Слушай, как следует! Кажется, кого-то пытаются...

Житель гор, Ердя был зорек, как сокол, и обладал тончайшим слухом. При малейшем звуке он, как бы крепко ни спал, поднимал голову и оглядывался по сторонам.

– Вот, вот, слышишь, глухарь? – снова толкнул меня Ердя.

Теперь и мне послышался надрывный стон.

– Что за напасть? – Я крепко прижался к Ерде. Ердя дрожащей рукой обнял меня за плечи.

– Давай выйдем.

Мы выбрались наружу ползком, чтобы не насторожить «актуков». Господи! Как хорошо на вольной воле! Воздух чист и прозрачен – легко можно пересчитать звезды. Они сверкают, словно зеркальца. Светятся под луной ели и сосны. Прекрасен горный пейзаж днем, великолепен он и ночью...

– Смотри в ущелье, – прошептал Ердя.

Я глянул вниз. По ущелью медленно поднимался обнаженный человек. Руки его были связаны за спиной, один конвоир держал конец аркана, а другой хлестал несчастного размоченной в воде тугой веревкой...

Продолжить рассказ Ибрагим не смог. В горле у него будто ком застрял. Из глаз выступили слезы. Я проникся его чувствами и тоже сидел безмолвно. Муки моего несчастного народа терзали сердце, про себя я осыпал ненавистных маоистов проклятиями...

Наконец Ибрагим заговорил:

Ердя потянул меня за руку:

– Пойдем, прикончим мучителей, а там будь что будет!

– Но они вооружены...

– Трус! – Он с презрением взглянул на меня и сделал шаг вперед.

К этому времени беднягу уже втащили в землянку.

Ердя резко повернулся и пошел обратно. Если он что-то задумает, его узкие, словно бритвой прорезанные глаза светятся решимостью, и тогда Ердю с пути не свернешь. Если бы я не задержал моего друга, маоисты пристрелили бы его, пока он подбегал к ним. Ведь даже смелость и упорство уместно в свое время! Я удержал Ердю и... рассердил его. Монгольский джигит не хотел сносить до конца жизни брань и унижения, он предпочитал погибнуть с честью, сопротивляясь. А я – в ту пору паралитик без воли и мужества, зачем я помешал ему!..

– Уж не сорвались ли с мест созвездия Весов и Семи разбойников? Эй, господин образованный, чего уткнулся в небо? – слышался ехидный голос Барата-Мухи.

– А что, и по нужде нельзя выйти на улицу?

– То-то твой дружок-наджи⁷ зыркнул на меня глазами-щелочками да как стреканет в сторону!

– А кто это такой – с глазами-щелочками? – наивно спросил я.

– Эти образованные хотят совсем замазать мне глаза своим мылом. Марш вперед! – заорал Барат что есть мочи.

Он привел меня и Ердю в «командный штаб» – в управление, руководившее выплавкой стали. Контора больше напоминала военную тюрьму, чем промышленное учреждение. У входа стояли на посту два вооруженных солдата

– Вот, – показал Барат на нас, когда мы вошли.

– Что? – Китаец, склонившийся над столом, наверняка не понял Барата. Он вскочил, подошел к нам и принялся внимательно осматривать нас с ног до головы. Его кровависто-желтые глаза были безжалостно жестокими.

⁷ Наджи – друг (монг.)

– Разболтались! – произнес он по-китайски. Внезапно, повернувшись к Барату, он во весь голос завопил: – Гуньданы! – и показал на дверь. Барат не сообразил, что ему кричат: «Проваливай!» – и растерянно смотрел то на нас, то на китайца.

– Гуньданы! – повторил кадровый работник, да еще притопнул тонкими ножками, обутыми в матерчатые тапочки.

Барат-Муха, перепугавшись, поскорее вывел нас с Ердей наружу.

– Не принял нас твой чжангуйды, куда теперь поведешь? – насмешливо спросил Ердя.

– Ты, Барат-ака⁸, сегодня удостоился «за службу» награды под названием «гуньданы», – сказал я. – Из тех, кто работает под твоим началом, четверо сорвались в пропасть, восемь умерли от болезней, а девятнадцать пожизненно упрятаны в шахту. Мы слышали, что только Аблях превзошел тебя в жестокости. Ты не можешь подняться до звания дуйчжана из-за того, что не удастся перевыполнить план, не правда ли?

– Попал в самую точку, – поддержал меня Ердя. – По части «активности» нашему Барату до Абляха далеко...

– Довольно, подрывные элементы! Вашему Абляху я глотку кипятком залью!..

Наше торжество, однако, прервалось. Два вооруженных солдата догнали нас и вернули в штаб. Китаец, что недавно выпроводил Барата, теперь направил свой указательный палец в нас.

– Я цзо! – приказал он. – Арестовать!

Чувствуя себя чуть не на седьмом небе, Муха по дороге к подземной тюрьме бранил нас на сто ладов.

То, что мы называли подземной тюрьмой, было вырытой в земле печью, для выплавки стали. Печи после плавки выходили из строя, и их приспособляли для «провинившихся». Нора, куда мы попали, была так тесна, что в ней невозможно было вытянуть руки и ноги и не хватало воздуха.

– Ххяп! – В скорбном вздохе Ерди мне почудился упрек. – Вот он, результат трусости... – Ердя не мог сдержать негодование и всячески корил себя.

– Да будь ты смельчак с сердцем тигра, что бы ты сделал, узкоглазый? – произнес Барат. Он, оказывается, подслушивал сверху.

– Ты, сатана в человеческом образе, ты, безжалостная тварь!.. Не даешь дышать, подслушиваешь, наслаждаешься нашими мучениями, скотская муха! – На эти слова Ердя израсходовал весь запас сил, потому что с хрипом опустился на пол.

– Мразь! Предатель из предателей! – едва смог произнести и я.

– Я еще погляжу на ваше геройство и красноречие. Ха-ха – злобно засмеялся Барат. Он прикрыл верх ямы, чтобы внутрь не поступал воздух, да еще чем-то придавил крышку.

Дышать становилось все тяжелее и тяжелее. Мы совершенно обессилели.

МИЛОСЕРДНАЯ ПРИНЦЕССА

Не знаю, сколько прошло времени, но, открыв глаза, я увидел, что лежу в теплой палатке. В печке, стоявшей по середине палатки, горели, потрескивая, сухие еловые ветки, в уголке, на маленьком столике, выстроились рядами пузырьки с лекарствами.

«Почему я здесь? Кто положил меня сюда? – удивился я. – А где Ердя?»

Оглядел все углы – Ерди нет... Попытался привстать, чтобы спросить о нем, но не смог даже пошевелиться: руки, ноги и туловище оказались примотаны бинтами к деревянной кровати.

⁸ Ака – дословно «брат», добавляется к имени при уважительном обращении к старшему.

– Не двигайтесь, вам нужен покой. – В палату вошла девушка в белом халате. Она показалась мне спустившейся с неба сказочной принцессой. – Скажите спасибо, что остались в живых, вы, оказывается крепче железа... – Девушка умолкла и с беспокойством выглянула наружу.

– А Ердя? Где Ердя?

– Не знаю... – Девушка отвела глаза.

– Ердя, – простонал я. Мне стало дурно, но медсестра поднеси к моему носу какой-то пузырек и привела в сознание.

– Примите лекарство. – Она мне дала выпить микстуру, погладила лоб нежной, как утренний ветерок, рукой, расправила мои спутавшиеся волосы. От ее прикосновения по телу разлился приятный жар, кровь в жилах словно бы потекла быстрее.

– Зачем лечите? Почему меня спутали, как овцу перед заклинанием?

– Чтоб не сбежал, – улыбнулась девушка.

– Чего только не сделают, чего только не придумают эти чжангуйды...

– Тише! – Девушка кивнула в сторону входа, быстро подошла к столику и начала перебирать лекарства.

В палатку вошел, мелко семеня, тот самый китаец с приплюснутым носом и красными глазами, который приказал арестовать вас с Ердей. Я прикрыл веки.

– Пора выкинуть его отсюда, слишком долго лежит, скотина, – по-китайски сказал он.

– Конечно, надо работать, но у него нет сил стоять на ногах, я едва привела его в сознание.

– Тебе, Салима, революционное задание: к завтрашнему дню поставить эту тварь на ноги! – приказал китаец девушке.

– Когда же вы, – открыл я глаза, едва китаец вышел, – выполните свое революционное задание?

– Вы знаете по-китайски?

– Достаточно, чтобы понять смысл сказанного.

– Значит, вы слышали, что ваша судьба поручена мне, – улыбнулась Салима, и ее миловидное лицо похорошело еще больше.

– О чем еще мечтать, если твоя судьба поручена землячке. – Я тихонько вздохнул.

Маоисты лечили меня, конечно, не из милосердия. Завтра же поставят на тяжелую работу или обрекут на новые муки. Истязать – лечить, снова истязать и опять лечить – такой у них метод воздействия.

– Вас могут наказать в назидание другим.

– И вы, значит, искренне согласны с маоистами?

– Что, что? – Салима побледнела.

– Простите, Салима... – Я горько раскаивался в сказанном.

– Вы, наверное, лучше меня знаете способы противодействия китайцам?

Смутившись, я пожал плечами.

– Я помогу вам бежать, – произнесла медсестра. Я был сбит с толку ее неожиданными словами и молчал, не зная, что ответить. – Я сделаю так, что вы еще два дня пробудете здесь. К тому времени ваши силы восстановятся. – Салима быстро вышла, не ожидая ответа. Ее лицо выражало твердую решимость.

А мне и в голову не приходило бежать. Куда я побегу? У любого казана четыре ушка, говорят у нас, другими словами, в каждом нашем уголке хозяйничают маоисты. Они угнездились даже в пустыне Такламакан! И с чего эта девчонка предлагает помочь? Первый раз меня видит, не испытала, не проверила... Или за этим что-то кроется? Мало ли нашлось у нас безвольных людей, трусов, предателей и двурушников во время

«движения против местного национализма»? Пусть невежественные сопляки по неопытности готовы были поверить кому угодно и пойти за кем угодно, но национальные руководители, кадровые работники, ученые, писатели, поэты! Они пережили не одного китайского властителя и хорошо усвоили их коварные повадки... И все-таки на крючок попались тогда почти все! А эта девушка так юна!..

– Не заснули? – Мелодичный голос Салимы прервал мои печальные размышления.
– Ешьте, ешьте! Чего уставились, быстрее ешьте, вдруг, кто увидит, – торопила Салима, поднося ложку к моему рту. Я подчинился, начал жевать, а сам не отрывал взгляда от ее глаз. Они излучали свет, струившийся, словно из самого сердца...

Такие ясные глаза природа дает лишь человеку с чистой совестью, дает как свидетельство! Преступно подозревать честного в злых замыслах!

– Что с вами? Ешьте! Еда совсем остынет.

– Спасибо, Салима, за вашу доброту. – Я смутился оттого, что долго смотрел на девушку.

– Да кушайте же! Мясная пища поддержит вас.

– Мне кажется, эту чашку еды я отнял у вас? Да, Салима?

– Оставим это. Так решились вы бежать?

– Если я сбегу, вы пострадаете из-за меня...

– Вы рассуждаете, как ребенок. Я же буду знать о вашем побеге и сумею позаботиться о себе. Или вы мне не верите?

– Простите меня, но верю не совсем. Обстановка заставляет. Кроме того, даже если меня не поймают, вас могут схватить как заложницу.

– Многие находят приют в Советском Союзе...

– Вот это да! Прокаженный интеллигентшишка остался в живых! – В палатке появился Хевиз. Он пялился на Салиму, как вороватый кот на потроха. Девушка прищурила веки, чтобы не выглядеть приветливой. Хевиз остановился возле меня.

– Лежишь, будто мамочка спеленала, господин образованный! А твой наджи закрыл глаза-щелочки и отправился в преисподнюю! Не хочешь ли проводить?

– Проклятие!.. – Помню, как вырвалось из моих уст это слово, а что было дальше – не помню: в глазах потемнело...

Придя в себя, я услышал, как на улице кричат:

– Салима! Где Салима?

Я взглянул на девушку.

– Откуда взялся Горячий Хвост?

– Назначили начальником шахты... Кажется, там случилась какая-то беда, я побегу.

– Салима торопливо выскочила из палатки.

– Еще одна смерть... Еще один друг...

БЕССТРАШНЫЙ ПЕВЕЦ

Придерживая сзади, чтобы не дать упасть, меня выводят на широкий двор. Там собрались, видимо, все сталевары. В повседневном тяжком груде «воины стали» растеряли силы и от усталости и голода теперь едва могли стоять навтыжку. А стоять приходилось именно так – это главное условие сохранения «боевого» духа собрания: нельзя допускать никакого – ни физического, ни душевного – расслабления. Поторчи-ка столбом четыре-пять часов – такую муку и не сравнишь ни с чем!..

Меня и еще одного юношу втащили на помост. И зазвучало:

– Долой националистов!

– Националистам среди нас не место!

Потом пошли прочие традиционные лозунги.

– Товарищи! – послышался через некоторое время голос «От куйрука» Хевиза. – Объявляю общее собрание полка открытым!..

– Сегодняшнее «собрание борьбы» имеет особенно важное значение, – продолжал Горячий Хвост. – На месте преступления пойманы опасные враги, скрывавшиеся среди нас. Это новая большая победа мудрого учения нашего великого вождя, председателя Мао-чжуси...

– Да здравствует самый, самый, самый великий вождь Мао-чжуси!

– Да здравствуют озаряющие мир идеи Мао Цзэдуна!

После лозунгов «От куйрук» долго и нудно читал заранее подготовленную тягучую речь. Через каждые два слова в ней упоминался обожествленный Мао, участники собрания выкрикивали лозунги, повторяя «великое» имя.

– Эти отъявленные националисты, – в конце речи Хевиз указал пальцем на нас с юношей, – вместо того, чтобы покаяться и исправиться, поносили председателя Мао и старших братьев ханьцев, вели вражескую агитацию...

– Смерть неисправимым элементам!

– Этот, – Хевиз кивнул на юношу, – вступил на капиталистический путь и сложил частушки против великой, революционной политики «трех красных знамен»: «генеральной линии», «народных коммун» и «большого скачка»...

– Пусть выйдет на свет!

Солдат в военной форме схватил юношу за воротник и подтащил к укрепленной на жерди газовой лампе. Взглянув краем глаза, я узнал его – сердце заколотилось так, будто хотело вырваться из груди. Это Саттар – знаменитый певец-импровизатор. Он сочинял острые сатирические частушки, обличал в них Мао и маоистов, срывал маски с национальных предателей. Я догадался теперь, что это несчастного Саттара маоисты избивали той студенной ночью.

– Вот что написал совратитель! – Хевиз помахал тремя листками бумаги.

– Пусть прочтет сам! – послышались голоса.

То не были голоса «актива», – это кричали из толпы. Под таким предлогом люди хотели еще раз услышать частушки от самого Саттара и поиздеваться над сборищем маоистов. Хевиз не знал, что предпринять, он сказал что-то китайцу в военной форме, видимо, просил у него поддержки, но тот тоже опешил. Маоисты, естественно, боялись, что частушки придутся народу по сердцу и широко распространятся. Но ведь сами же объявили о них! В конце концов, китайский кадровый работник сделал знак Хевизу: «Прочти!». Хевиз начал читать дрожащим, едва слышным голосом:

*Никогда от родины я не отрекусь,
Ей упрека в тяжком горе не пошлю.
Никогда захватчикам
Свой край не уступлю...*

Хевиз, наверное, не осмелился прочесть стихи до конца – подавился, словно пес большой костью. А из толпы послышался смех. Смеялись оттого, что частушка в устах Хевиза – врага – прозвучала еще выразительнее. Все это на языке маоистов называлось провалом «собрания борьбы». В таких случаях они прибегают к угрозам и даже к физическому воздействию. Китаец в военной форме выхватил револьвер, выстрелил два-три раза в воздух, а затем протянул руку к толпе.

– Буяо شوхуа! Замолчать! – прокричал он что есть мочи и показал на Саттара: – Этот провокатор будет сурово наказан...

С криком: «Не будем потакать националистам-provokatorам!» – на сцену вскочили двое «актуков», поволокли Саттара за воротник к краю помоста:

– Признайся, кто тобой руководит!

Саттар не лишился присутствия духа, не сдался. Стоял бесстрашно, распрямив грудь, не отвечая на вопросы. Я уловил в его глазах огоньки гордости, мужества, ненависти. На сцену набилось двадцать-тридцать преданных «актуков», они трясли Саттара, задавали вопросы, требовали ответа, при этом некоторые плевали в чистое лицо юноши. Саттар отвечал им ненавидящими взглядами и продолжал стоять с гордо поднятой вверх головой.

Маоисты решили перейти к следующему «действию».

– Товарищи, что будем делать с упрямым? – Китаец в военной форме оттолкнул Хевиза от руководства собранием.

– Под замок его!

– Заковать в двойные кандалы и в шахту!

– Запрячь в «арбу позора» – в самый раз!

Все это чудовищные меры наказания, куда легче принять яд и умереть.

– Преступление Саттар совершил тяжелое, – сказал китаец. – Мы знаем, что сам он еще молод и несамостоятелен, за ним стоят подстрекатели. Если б он назвал их...

– Вам мало незаконно и несправедливо замученных? Хотите сравнить нас друг с другом, как собак, да? – Саттар пытался еще что-то сказать, но ему зажали рот. Юношу, осыпая ударами, сволокли со сцены.

Чистое сердце Саттара отстучало слова правды. Казалось, что от них замерли в гневном молчании не только люди, а даже горы и камни. Сколько мучили маоисты Саттара, чтобы заставить покаяться публично, и вот осрамились – провалили «собрание борьбы».

В то время в народе говорили: «Лежит на брюхе Мао Цзэдун – одна политика, перевернется на спину – другая». Вот характерный политический лозунг вождя: «Три мастера-кожевника – один Чжугэ Лян». Человек по имени Чжугэ Лян считается в китайской истории особенно рассудительным и находчивым. Смысл лозунга в том, что, если соединить разум трех людей, получится деятель типа Чжугэ Ляна. Чиновники не добились результатов от «собрания борьбы» и ушли совещаться, создавать одного Чжугэ Ляна из трех никудышных кожевников. Мы, таким образом, получили передышку. «Пенек отдыхает, пока поднят топор», – говорят у нас.

Куда увели Саттара, я не знаю, а меня вернули в палатку, но теперь у дверей поставили вооруженного охранника. Салимы не было, не слышался нигде ее милый голосок, похожий на серебряный колокольчик. Когда меня, подталкивая, гнали к палатке, я радовался: сейчас снова увижу Салиму, расскажу ей о Саттаре. Но, к сожалению, Салиму я не увидел ни в тот день, ни потом...

Позже я долго расспрашивал о Салиме, но не узнал ничего о смелой девушке в белом халате. Укрыла ли ее, волевою, мужественною, родная мать-земля или извели маоисты, мне неизвестно. Но вполне вероятно, что Салима, в конце концов, погибла.

– Как жаль, что вы не разузнали пообстоятельнее о ее судьбе, – произнес я.

– Да, – понурился Ибрагим.

– Таких девушек, как Салима, немало. Мы обязаны увековечить имена преданных родине борцов... – Я попросил Ибрагима вернуться к повествованию.

На следующее утро, – заговорил он после длительной паузы, – нас с Саттаром еще до света запрягли в «арбу позора» и отправили вывозить руду. Когда на шею надели

ишачью сбрую и впрягли в двухколесную арбу – одного в оглобли, другого сбоку, в пристяжку, – мы воистину превратились в двуногий скот. Разница в том только и заключалась, что у осла четыре ноги, а у нас было по две, осел подкован, а мы без подков... Зато нас обули в чарыки, сшитые из шкуры павшей лошади.

И еще одно различие: ослов кормят досыта, а нас кое-как – лишь бы во рту сыровато было. Когда осел не может вытянуть груз, погонщик помогает ему, подталкивает арбу сзади, а вот если груз не под силу нам – начальники не скупятся на ругательства да еще, глядишь и поклажи добавят...

Название «арба позора» возникло не случайно. Тех, кто не выполнял дневную норму, поначалу срамили в «дацзыбао» – «газетах больших букв»: под заголовком «Позор!» там помещали сатирические карикатуры на отстающих. «Дацзыбао» – главное оружие маоистской агитации – вскоре, видимо, утратило свою силу, поэтому через некоторое время изобрели «арбу позора». «Изобретение» испытали прежде всего в местности Уччаптар на Или, потом его стали широко применять во всем Восточном Туркестане. «Арба позора» превратилась в способ наказания преимущественно для тех, кто работает под конвоем.

Юный Саттар старался тянуть арбу даже сильнее, чем я. От места загрузки до плавильной печи промежуток в триста – четыреста метров. Но дорога поднимается в гору, и на крутом склоне арба покатила назад, потащив нас за собой. Сбруя врезалась в горло... Еще немного, и мы бы отдали богу души. Нечеловеческими усилиями мы остановили арбу, а потом все-таки стронули с места и поволокли вверх, напрягаясь изо всех сил, как лошади, берущие перевал.

Наконец подтянули арбу к печи. Барат-Муха ни на шаг не отстает, наступает, можно сказать, на пятки, кричит:

– Не ротозейничайте! Разгружайте арбу!

Мы понимаем, почему он поручил присматривать за подчиненными (а их до сорока человек) кому-то другому, а сам ходит за нами. Хочет измотать нас, не дать передохнуть, а заодно и подслушать наши разговоры. Мы догадались о намерениях Мухи и не произносили лишних слов. Как не пытался Барат разозлить нас, заставить «расчирикаться», мы не поддались. Мы с Саттаром делали вид, что затаили злобу друг на друга. Еще утром, когда нам на шею надевали сбрую и Барат неотступно крутился рядом, Саттар тихонько шепнул:

– Давай не разговаривать, притворимся, что поссорились. Может, Мухе станет скучно, и она улетит куда-нибудь.

Но в черный день, как назло, так и хочется поговорить обо всем на свете. При свободной жизни как-то не замечаешь, откуда всходит солнце, куда оно заходит. А вот сегодня солнце почему-то упрямится, никак не хочет сдвинуться с места. На него смотришь, смотришь с томительным ожиданием, и вдруг начинает казаться, что оно движется назад. «Наступит ли полдень? Выдержим ли до обеда, а, Саттар?» – про себя говорю я.

Лошадь вымотается – опадают уши, человек вымотается – потеют глазницы, – так говорят, слышал я. Взглянул искоса на Саттара: из глаз его пот льет, что называется, ручьем, ноздри расширены. И все-таки в лице его мужество и непреклонность!

Наконец дали свисток на обед. Мы в этот момент одолевали последний подъем и, чтобы не терять ни одной минуты отдыха, изо всех сил рванулись вперед. Арба стукнулась о камень, дернулась назад, увлекая нас за собой в ущелье. Еще чуть-чуть, и груженная арба могла полететь бы вместе с нами в пропасть. От нас осталось бы только мокрое место. Но нам с Саттаром, к счастью, повезло и на этот раз.

Как галки на скошенном пшеничном поле, расселись группами «стальные бойцы», осторожно держа обеими руками жестяные миски, чтобы не пролить ни капли из скупо отмеренной каждому порции похлебки. Они ели, а из глаз все равно не исчезал голодный блеск. «Командиры» не ослабляли надзора и во время обеда, обходили группы, кому-то выговаривали, кому-то угрожали. Многие поторопились съесть положенное и прилегли отдохнуть – кто, где сидел. Ах, если бы закрыть в эти минуты глаза и больше не просыпаться...

Нас с Саттаром посадили отдельно от всех, метрах в десяти в стороне. Люди, наверное, удивлялись, что мы не погибли, не скатились с горы вместе с «арбой позора», и к тому же восхищались Саттаром – он смело возражал маоистам накануне, во время «собраний борьбы»; они хотели хоть как-то выразить ему свое одобрение, поэтому глаза всех обреченных братьев были прикованы к нам. Тайное сочувствие десятков задумчивых, печальных глаз согревает сердце, возрождает веру в искренность, доброту, сострадание. Никак не найду подходящего слова, чтобы охарактеризовать этих мучеников, гнувших спину на выплавке стали: сказать, что это арестанты, – так они все же члены народных коммун; коммунарами, однако, их тоже не назовешь; все работают под надзором. Никто из них не знает, где сейчас семья каждого, что творится дома, в родных места. Этих людей согнали сюда, чтобы подтвердить «могущество» Мао, и они вросли в скалы, как горный кустарник «ягнячья ножка». Они не знали ничего другого, кроме поклонов перед портретом вождя да тяжелого труда, и не задумывались пока о правде и справедливости, и все-таки я уверен, они далеко не все воспринимали так, как хотели маоисты...

Точной оценки я не могу дать даже себе: чего скрывать, первое время после «освобождения» я был искренне предан китайской компартии и Мао Цзэдуну. Они уверяли, что построят социализм, а потом и коммунизм! И Саттар, что сгорбился рядом и уткнулся в жестяную миску, два года тому назад посвящал свои стихи «великому вождю» Мао Цзэдуну, возносил его выше солнца. А теперь вылизывает пустую миску, в которую маоисты кинули ему от своих щедрот хлеба, размоченного в воде – «суп из небесных гусей»... Через десять минут нас снова впрягут в «арбу позора». Выдержим до захода солнца или погибнем под грузеной арбой? Поручиться ни за что нельзя. Удастся ли нам, молодым, полным сил и желания жить, вырваться из этого мира, где в нераздельное целое сплелись ложь, злоба, насилие?

Сбруя еще перед обедом стерла до мяса кожу на наших плечах. Теперь, когда ремни снова касались ран, сердце заходило от пронзительной боли. Но в глазах маоистов мы стараемся выглядеть бодро, не проронить ни стона. Пусть они не видят наших мук! Вместо Барата к нам приставили какого-то незнакомого охранника, и мы начали понемногу отлынивать от работы, поглядывать по сторонам. Вот он оскалил зубы, вооруженный китайский солдат. Как говорится, «чужак ранит в бок, а свой – в душу». Мучения от уйгуров воспринимаются больнее, чем страдания, причиненные китайскими «старшими братьями».

После двух рейсов мы прислонились к большому камню. Решили покурить. Да и нового надсмотрщика надо прощупать. Как он поступит: сделает вид, что не заметил, или, как Барат-Муха, погонит нас вперед с криками и бранью?

– Совесть у него, кажется, есть, видишь, смотрит в другую сторону, будто не замечает, – кивнул Саттар на солдата.

– Наверное, сердце может заговорить и у маоиста.

– Зло не в одних только китайцах. Зло еще и в том, что все угнетенные народы не решаются добровольно объединиться для противодействия маоистам.

Саттар умолк, а потом добавил:

– Вот увидишь, эти авантюристы ничего не добьются! Одурманенные ложными идеями маоисты пустили на ветер столько человеческих сил, столько средств, столько людей восстановили против себя... Вместо стали они получают шлак, один только шлак!..

– В двадцатом веке, когда так бурно развивается техника во всем мире, Мао возрождает древние сталеплавильные печи! Такое и вправду можно сделать лишь в угаре, в безумии!

– Нас они называют «консерваторами». А сами до небес превозносят обветшалые «национальные изобретения и национальные традиции».

– Давай пойдем, – предложил я, – а то надсмотрщик разозлится.

– Как я жалею, что сперва поверил этим лжемарксистам! – с горечью воскликнул Саттар.

– Что же нам теперь делать, как ты думаешь? – Согнувшись в три погибели, я шагнул вперед.

– Есть два пути, – ответил Саттар. – Первый – покориться маоистам искренне, стать бесчувственной презренной тварью, безвольным рабом. Второй – поступать по велению совести, противодействовать!

– Противодействовать?..

– Да! Подняться на решительную борьбу против маоизма и маоистов!

– Но как противодействовать? Кто придет нам на помощь?

– А что, – Саттар остановился, – ты полагаешь, что бывают заступники, которые сбросят с неба оружие, а из земли выставят солдат? Посмотрите-ка на него! Я, ты и прочие, мы заляжем, попрячем трусливо головы, а посторонние пусть нас освобождают, да?

– Я не то хотел сказать, Саттар...

Мне так и не удалось узнать, как он думает бороться и есть ли у него какие-нибудь связи. Вновь появился Барат-Муха:

– Эй, вы, таримские черепахи! Не топчитесь на месте, ноги пошире раздвигайте! – Ему, видимо, не терпелось опять следовать за нами, как вороне за трупом.

Саттар обернулся:

– Ты вонючая тварь, но слова твои зловоннее тебя!

– Не ругайся, это бессмысленно, – пытался успокоить я товарища, но Саттар продолжал еще резче:

– Что ты сделаешь, если мы откажемся работать? Знай, Муха, скоро держать ответ таким, как ты, – национальным предателям!

Похоже, горячие слова Саттара пулей ударили в грудь Барата, он не огрызнулся, не ударил, юношу, он как бы застыл на камне. Мы разгрузили арбу, возвратились с нею обратно, а Барат-Муха все еще не двинулся с места. Видно, этих истязателей и в самом деле гложет страх. Народ Восточного Туркестана пока терпит невыносимое положение, но страшно представить, чем однажды все может кончиться...

Меня вернули в прежнюю группу. Саттар работать отказался наотрез. Это уже бунт! Ноги упряма на виду у всех заковали в кандалы, руки – в наручники. Саттара втащили на запряженную парой лошадей арбу, чтобы везти в город в сопровождении вооруженных солдат. Однако и на этот раз получилось не так, как хотели маоисты. Толпа не пришла в возбуждение, не приветствовала наказание, люди смотрели вроде бы безучастно, молча. Это было безмолвие протеста. Саттар, несмотря на удары маоистов, прокричал:

– Братья! Земляки! Не верьте коварным уловкам колонизаторов! Боритесь за волю, за освобождение...

Договорить он не успел. Стражники повалили его, сами сели сверху. Народ, замерший было в мертвом безмолвии, вдруг заволновался от слов Саттара, зашумел.

Маоисты с помощью вооруженных солдат поспешно разогнали людей по рабочим местам. Я, как и большинство, всей душой воспринял пламенный призыв певца.

В дни растерянности и горя встретились мне на пути три смелых соотечественника: Кадыр, Ердя и Саттар. Они ушли из моей жизни, но мужественный и близкий облик каждого не покидает мое сердце, наполняя его верой в светлое будущее моего народа, моей земли. Я не знаю, как точно определить, что такое героизм. Может быть, герои рождаются лишь в определенных исторических условиях и открыто бьются с врагами не на жизнь, а на смерть. Но я, несмотря на это причислил бы к героям и Кадыра, и Ердю, и Саттара. Три юных сердца были исполнены преданнейшей любви к родине, они жаждали свободы, справедливости. Оттого-то маоисты и посчитали их «опасными» и поспешили убрать подальше. В чем виновны Кадыр, Ердя, Саттар? В чем виновны подобные им? Не в том ли только, что заявили: «Мы тоже люди и имеем право жить по-человечески!»?

«Человек – превыше всего!» – такое я не раз читал в книгах и слышал от людей. В Китае эту истину давно забыли. Где тут сохраниться человеческому достоинству, гордости, если народ обрекают на несправедливость, унижение, травлю, ссылки, тюрьмы, нищету?..

Я говорю все это вовсе не только из-за личной неприязни к маоистам. Просто я был очевидцем всеобщей народной трагедии...

Забывшись беспокойным сном, я не почувствовал, как меня за ноги выволокли на улицу. Под холодным ветром я открыл глаза: надо мной стояли Барат и стражник. Они не шевелились, видно, подкарауливали: вдруг в бреду какое-нибудь неосторожное словечко сорвется с моего языка. Февральский ветер колот лицо, руки, моги ледяными иголками. «Лучше умереть под кнутом, чем замерзнуть...» – Я поднялся и спросил со злостью:

– Что вы делаете?

– Не ори, образованный! Еще раз пикнешь – увидишь себя в преисподней! – Барат поигрывал над моей головой камочкой, сплетенной узелками. – Где спасибо за то, что тебя вытащили подышать чистым воздухом? – Муха захохотал, как удад.

Всякому терпению есть предел. Сорвался и я – вскочил, чтобы ударить предателя, и упал, поскользнувшись...

Что было потом, сколько прошло времени, – не знаю. Пришел в себя опять в той самой палатке, где меня лечила Салима. Только вместо доброй девушки передо мной сидел кто-то узколицый, с вывернутыми ноздрями и коротко остриженными волосами. Видно, раздосадован, что я не умер, а остался жив: смотрит, злобно щурится.

«Боже! – мысленно охнул я. – Есть что сравнить: сияющее лицо Салимы и эти похожие на веточку тмина вспухшие веки. Я так и прозвал его – «тминные веки»!

– Лежи тихо! Чего шепчешь?

«О, хранитель... Сколько злобы в этой твари...»

– Лекарство выпьем?

– Какое лекарство? Зачем мне лекарство?

– Какое лекарство! То, которое тебе помогло! Не оно, так уже в могиле лежал бы.

– Выпью, выпью, – заторопился я. От его хриплого голоса сделалось не по себе.

– На. – Он сунул мне в рот таблетку. Меня чуть не стошнило – не от горького лекарства, нет, от смрадного его дыхания.

Я не заметил, как вошли двое стражников.

– Вставай! – по-китайски приказали они и без промедления выволокли меня из палатки.

Солнце уже село, однако люди работали при свете месяца. Они еле шевелились: наверное, выбились из сил.

Меня спустили в глубокое подземелье, похожее на изображаемые в сказках зинданы, и повели мимо окованных железом дверей. И когда только успели понастроить

все эти многочисленные камеры? На конец открыли самую последнюю конурку, толкнули меня в нее и закрыли на замок железную дверь. Последующие дни показались мне необычно спокойными и безмятежными: маоисты где-то далеко, их безобразные рожи пока что не маячат перед глазами, я свободен от постоянной слезки. Я был рад, что замурован живьем в могилу, что могу, наконец, вытянуть руки-ноги, спокойно спать. И я спал, прижавшись грудью к голому полу.

День ли, два я проспал – точно не знаю. Ведь в моей могиле стояла сплошная ночь. Но потом я почувствовал, что рассудок мой притупился, что я близок к помешательству. В воображении вдруг вспыхнет какой-то предмет, и я начинаю беспрестанно повторять:

– Луч солнца, луч солнца, луч солнца!..

Открылась, наконец, с громытием железная дверь, появился вооруженный охранник.

– Цилай, шэнкоу! Вставай, скотина! – завопил он. А следом послышался голос Барата-Мухи:

– Валяется, как разродившаяся баба! Вставай!

Меня втащили в так называемый «полковой штаб», швырнули в комнату, как бросают сноп чия.

– Вот он, хитрец-националист! Притворяется, что в беспамятстве! – Барат начал бить меня ногами.

– Прекратить! – крикнул из-за стола китаец. – Иди, занимайся делом!

Барат-Муха вышел, поскуливая; ни дать ни взять пес, получивший пинок от хозяина.

Охранник помог мне сесть на стул. Где-то в дальнем уголке души возникла признательность к китайцу, который выгнал Барата.

– Не горячись! Все уйгуры – горячие головы, – заговорил китаец. – Есть для крайностей основания, нет их, – все равно рубите плеча. – Следовательно оскалил в улыбке волчьих зубы. Сорокалетний китаец был, похоже, из тех, кто умеет незаметно вползти в душу. Он понимал толк в обращении с людьми.

– Вместо того, чтоб раскаяться, ты нашел общий язык с Саттаром и ему подобными...

– Саттара не знаю, незнаком. Мы всего только день работали вместе, когда нас запрягли в «арбу позора». Какой тут общий язык? – возразил я.

– Саттар – разумный молодой человек, он способен отличить правду от неправды. Сейчас он раскаялся в содеянном и назвал всех, кто причастен к его организации. В том числе и тебя.

– Что, что?

– Подумай! – Следователь не изменил кроткого тона. – Мао-чжуси указывает, что виновен не тот, кто совершил ошибку, а тот, кто не сознался в ней. Ты плохо усвоил идеи Мао-чжуси и потому ошибся.

Нелегко выслушивать такие увещевания. Я, конечно, тут же возненавидел следователя. Как мог он оболгать Саттара, как мог придумать, будто тот «раскаялся» в чем-то!

– Наверное, – уперся я в китайца взглядом, – он не выдержал длительных пыток и наговорил неведомо что...

– Пыток? – Следователь вскочил и засучил рукава. Его невыразительное пергаментное лицо, типичное лицо китайского чиновника, сделалось сатанински злобным. – Выходит, ты и нашу беседу назовешь пыткой? – Китаец вздернул голову, как змея, и замер в напряженной позе.

– Конечно! Несуществующее превращают в факт только посредством пыток...

Он и вправду змея! Подпрыгнул и нацелился указательным пальцем в мой глаз:

– У кого научился таким словам? Говори!

– Гонять голышом по снегу, запрягать в арбу, как скотину, гнать бегом в гору, бросать в подземелья – это разве не пытки? Разве «воспитание», «изменение идеологии» заключается в этом? – крикнул я. И сам изумился – страха как не бывало.

– Это не твои мысли, нет-нет, не твои! Ты рассуждаешь под влиянием Саттара или какого-нибудь другого отъявленного националиста! Разве не так? Ага, молчишь! Значит, ты всего только прислужник!..

– Вы говорите – Саттар признался. Что же он сказал?

– Ты не уводи разговор в сторону! Сначала скажи, чьи мысли повторяешь?

– У нас тоже есть разум! Разве непонятно, чего вы хотите? Перебалтываете в кашлицу наши мозги на потеху разным идолам!

– Мерзавец! – заорал следователь. И смолк. Мне кажется, он думал в этот момент: «Ничего не выйдет... Неужели до такой степени выросло озлобление против нас? Парень выглядел трусишкой, а оказался способен вон на какие слова... Что же скажут те, покрупнее?..»

– Значит, – произнес после долгого молчания чиновник, – вы сожалеете, что получили освобождение из рук великого вождя, председателя Мао?

– Освобождение? Это не освобождение, а нескончаемые насилия! Такое освобождение нам не нужно!..

– Цзэйваза! Бандит! – Он ударил меня по голове рукояткой пистолета.

Меня перевели в другую группу. Не буду, по крайней мере, слышать отвратительные, вонючие, как свежий навоз, ругательства Барата-Мухи. И еще одно хорошо: я работаю теперь вместе с нашим соседом Касымджаном, сплю с ним рядом, в одной землянке. Он превосходный музыкант и чтец газелей, все уважают его. Касымджан попал на выплавку стали за то, что «прочирикал» когда-то: «У китайцев нет своих танцев, есть только размеренный шаг. Они присвоили уйгурские танцы, выдают их за свои...» У Касымджана умелые руки, под его руководством мы строим плавильные печи.

– Почему меня перевели к вам, Касымджан? – прошептал я как-то ночью. – За те слова, что я сказал следователю, меня должны были наказать, и очень сурово. Но вместо расправы перевели на более легкую работу. В чем суть этой «меры»?

– По-моему, – ответил мне на ухо Касымджан, – китаец проникся к тебе расположением.

– Нет, нет... Разве дружески настроенный человек стал бы бить меня до потери сознания? Наивно!

– Он побил тебя для виду, зато избавил от подземной тюрьмы или от работы в шахте.

– Оставь ты своего китайца, – обиделся я. – Такая большая нация – семьсот миллионов – и затеяла вдруг с уйгурами игру в кошки-мышки... Зачем им это нужно?

Касымджан заснул. А я долго не мог успокоиться – тревожили противоречивые мысли. Я вспоминал, сколько горя принесли китайцы моей земле, как они притесняли и мучили ни в чем не повинных людей. В душе моей вспыхнула злоба к Мао, загорелась мстительная ненависть к поработителям. «Нет, не поверю им, не поверю, пока существуют притеснения, насилия, унижение, не поверю, пока не будет свободы и равенства...» – решил я и закрыл глаза.

...Рабочий день начался чем-то вроде торжественного шума, – как обычно бывало в праздничные дни. Всех собрали на украшенную флагами площадь перед портретом Мао. Стучали барабаны, гудели зурны. «Сегодня выдадим свой искусственный спутник!», «Завоюем переходящее знамя!»-такими хвастливыми лозунгами пестрели

многочисленные плакаты. Можно было подумать, что и вправду стряслось что-то важное. Или вот-вот стряется. Но ведь недаром говорят: «Гром есть, а дождя нет». Так и маоисты падки на шумиху; любят не работу, а звонкие слова и обещания.

Полковой штаб включал в себя три батальона – углекопов, рудокопов и сталеваров, а также две отдельные роты – финансово-хозяйственную и путей сообщения. Все они выстроились, согласно военному распорядку, под своими знаменами. Три месяца тому назад, когда выплавка стали только начиналась, в «полку» насчитывалось более двух тысяч человек. Сейчас осталась половина. Люди сгнули в шахтах, умерли от болезней, свалились в пропасть, скрючились в тюрьмах... А те, что остались, – взгляните на них: они похожи на духов, покинувших могилы.

– Видишь, – тихо и серьезно прошептал Касымджан, – эти люди – рабочие-воины эпохи Мао-чжуси.

Я внутренне усмехнулся его словам. В это время на возвышение из плоских камней поднялись китаец в военной форме и Хевиз «От куйрук». При виде Хевиза у меня сжалось сердце. Вспомнил, как он выгнал ночью из дома отца и мать, как мама назвала меня падалью... В тоске я простонал: «Мама, родная, где ты теперь?..». Все головы повернулись ко мне. Касымджан спросил с тревогой:

– Бредишь, что ли? – и, сообразив, закончил фразу шуткой: – И этот стоя спать наловчился, словно отощавшая кляча!

Окружающие засмеялись. Барат-Муха и ходившие за ним по пятам «белые волосинки» – активисты – крутились возле возвышения и ничего не заметили.

– Товарищи! – произнес кадровый работник в военной форме. – Его слова переводил Хевиз. – Благодаря питающей мир мудрости Мао-чжуси мы неустанно продвигаемся вперед от победы к победе. «Три «красных знамени»: «генеральная линия», «большой скачок» и «народные коммуны» – служат маяком народам всего мира...

Речь оратора оказалась длиннее Великой китайской стены. Он пообещал устроить «рай» на земле и, прежде всего в Китае.

– Сегодня, – наконец-то он заговорил о том, ради чего взял слово, – сегодня мы как бы запустим свой искусственный спутник по стали. Это будет результат мучительной трехмесячной борьбы. Мы соревнуемся с тринадцатым полком такой же ступени и должны выйти вперед. Если кто-нибудь отнесется пренебрежительно к нашей великой революционной задаче, затормозит ее выполнение, он будет раздавлен как жалкий и подлый саботажник! – Китаец посмотрел на часы.

– Сейчас шесть часов. Работаем до шести часов следующего утра. Товарищи, выдадим свой искусственный спутник!..

То ли ушли в землю, то ли улетели в воздух слова длинной речи кадрового работника в военной форме: никто не шелохнулся, не захопал в ладоши, кроме активистов, конечно. Люди стояли безмолвно, понуриив головы. Они выглядели равнодушными, тоскливыми и, наверное, не шевельнулись бы, если бы их даже внезапно обстреляли. «Не один я готов пожертвовать собой...» – мелькнуло в уме.

По установившемуся шаблону в таких случаях пускают в дело какую-нибудь заранее подготовленную продажную шкуру – и вот один поганец уже вылез на возвышение, заорал изо всех сил:

– Это большое революционное испытание! Всякий, кто убежденно верит в величие Мао-чжуси, выполнит свой долг. А ну, товарищи, вперед на рабочие места!

Гора походила на пылающий лес. Дымили тридцать с лишним больших и малых печей, дым заволакивал окрестности. Руда плавилась плохо, «стальной» расплав вытекал медленно, напоминая выползающую из раковины улитку. Чиновники нетерпеливо

заглядывали в желобки печей: когда же потечет долгожданная сталь? – ну точь-в-точь как отец, с тревогой ждущий, пока разродится первенцем его сена. Они приказывали то увеличить жар, то добавить руды, то вдруг хватали лопаты, начинали работать сами. Люди бегали, как муравьи, носили на плечах плетеные корзины с углем, рудой, камнями... Надсмотрщики не закрывали ртов, подгоняли: «Пошел! Вставай! Быстрее!». «Белые волосинки» на виду у хозяев старались вовсю: и бегали порезвее и поклажу носили потяжелее...

После шести часов работы выдали «обед». Кто где был, там кое-как и пообедал. Через десять минут работа возобновилась. Но теперь она пошла медленнее, быстро бегать уже никто не мог. Что происходило в других группах, не знаю, но в нашей человек десять пожилых и больных просто выбились из сил.

Некоторые упали под тяжестью груза и не могли встать на ноги. Угрозы надсмотрщика и даже кнуты на них уже не действовали. Люди кричали: «Вот он я – бей! Вот он я – убей!». Тех, кто в изнеможении не мог пошевелиться, лежал, будто отощавшая лошадь, вытянув конечности, отволокли с глаз долой, словно падаль какую-нибудь. Имена их занесли в список «элементов, противодействовавших революционному призыву». Хорошо, если дело ограничится критикой в «дацзыбао».

Удивляюсь, как я выдержал этот дикий день. Не зря говорится: «Со всеми и смерть, как пир», – действительно, в коллективе как-то легче, что ли. Во мне пробудилась сверхъестественная выносливость, я про работал все двадцать четыре часа...

В шесть утра работа кончилась. Все! Печи погасли, перестали поглощать людской пот, перестали дымить. Начальники, организаторы всеобщего издевательства, вдруг утихомирились. Прекратились ежечасные сообщения «полковых» агитаторов, выкрикиваемые через рупоры, воцарилась могильная тишина.

Плакаты перед дверьми землянок, у плавильных печей, на рабочих местах, те плакаты, что отражали «небывалый рост производительности труда, рисовали заманчивые будущие «перспективы», внезапно потускнели. Они шевелились под свежим ветерком и как бы просили: «Сорвите нас...». Если кто-нибудь спросит: «Что же произошло?» – то услышит честный ответ:

– Вместо стали маоисты получили шлак, один только шлак!..

Вот он, прогремевший на весь мир маоистский «большой скачок!». Все вышло по народной пословице «Жаба раз скакнет, другой скакнет, на третий в яму попадет». Маоисты кубарем свалились в яму, которую вырыли себе во время «большого скачка». Желая уязвить Советский Союз, запустивший в космос искусственный спутник Земли, маоистские заправилы раструбили о своем «искусственном спутнике» в производстве стали, а теперь кусают локти...

II – ЧАСТЬ

РАЗОРЕННОЕ ГНЕЗДО

*Дом разрушен – навсегда,
Сад загублен – навсегда,
Люди свой родимый край
Оставляют навсегда...*

Я уцелел и возвращаюсь домой, но, по правде сказать, не знаю, где буду жить, что встречу по возвращении...

Не странно ли, что мне страшновато ступить под родимый кров, где я появился на свет, где вырос и возмужал? Дед заложил фундамент нашего дома, отец возвел стены, выложил крышу, наша семья, проливая соленый пот, вырастила сад, и вот все отнято силой и отдано пришедшим из внутреннего Китая «старшим братьям». Приблудная кошка изгоняет домашнюю – так и нашу семью, да и весь народ, гоняет от родных очагов. Маоистам мало того, что они отнимают имущество. Они еще и сгоняют с насиженных мест. Отца с матерью загубили в карательном лагере Караой. Старшему брату и сестрам удалось бежать в Советский Союз. Зато младший брат Давут исчез, говорят, скитается без крова где-то на Алтае. Про остальных родственников не знаю вообще ничего.

Я не был дома около четырех лет. Китайские палачи устроили мне за это время «прогулку» по многим местам. Когда было покончено с «выплавкой стали», нас, группу «националистов», перевели в исправительно-трудовой лагерь у Чагантугая. И все же не умер в гибельном плену, а возвращаюсь живым! Не верится, что уцелел. Случайно остался жив? Или потому, что молод, вынослив и не так уж малодушен? Борьба за жизнь требует силы воли, присутствия духа, ненависти к врагам. Кроме того, я своими глазами видел тех, кто не боялся смерти, отважно боролся за справедливость. Постепенно я понял, что это и были мои друзья и единомышленники. Мои взгляды на жизнь переменились. Я обрел веру в необходимость борьбы и сопротивления, в необходимость отстаивать собственное человеческое достоинство.

На свободу меня отпустили случайно. Избавление из тюрьмы – самый радостный миг человеческого бытия. Кто пережил его, прекрасно поймет, о чем я говорю. Иди свободно, куда хочешь, обращай беспрепятственно к любому – с этим ничто не может сравниться.

Но восторга моего хватило ненадолго. По мере приближения к Чугучаку радость сменялась тревогой. Семья развеяна в прах, родина в горе, в печали, с чего же веселиться-то?

Все ближе, ближе Чугучак. Любой почитает место, где родился и вырос. И я дорожу своим Чугучаком. Чугучак – город небольшой, но зато имя у него звонкое, да и известность немалая. Знаменитый «шелковый путь» имеет отношение к уйгурскому народу, к его древней истории. В сторону Руси он ответвлялся именно у Чугучака. Через мой город шли торговые караваны в Семипалатинск, Ирбит, Иркутск, Казань. Потом проложили шоссе, которое связало две страны...

Чугучакцы говорят на смешанном языке. Уйгуры, казахи, узбеки, татары – все они дружны, роднятся между собой, живут в мире и согласии...

Родимый дом... Тоску по нему не сравнишь ни с чем. Поэтому, наверное, сердце мое застучало, едва показался Чугучак, шаг ускорился.

На небосклон поднялась полная луна, осветила томительный путь изгнанника. Весенний ветерок принес тепло и знакомые запахи прогретой за день земли, развеял тревогу, мягко, как мать, обласкал лицо и глаза, даровал телу успокоение. Много раз наслаждался я в жизни таким же ветерком, такую же лунной ночью, но эта ночь, ночь возвращения, запала в мое сердце навеки. Под влиянием нахлынувших чувств я и сам не заметил, как запел:

*Весенняя пора – радости пора,
От зимних мук избавляться пора.
Все живое поет и ликует.
Радостна, прекрасна весенняя пора...*

Эти стихи поэта Марупа Саиди, широко известные в народе, я помню еще с третьего класса. Я повторил их несколько раз... Вспомнились школа, уроки, преподаватели, и память опять унесла меня в прошлое.

Тогда в Синьцзяне господствовал известный китайский колонизатор Шэн Шицай, он сгноил в тюрьмах и ссылках сотни тысяч безвинных людей, а среди них – прославленных наших писателей и поэтов: Марупа Саиди, Хелила Саттари, Аюпа Мансури, Абдурехима (Уйгура), Лутфуллу Муталлипа... В ушах у меня зазвучали имена тех, кто был нашей бессмертной национальной гордостью. Печальный стон вырвался из груди. Радости снова как не бывало...

Телесные и душевные муки не прошли мне даром. В лагере я заболел: от малейшего расстройства кружилась голова, и я впадал в беспамятство, длившееся часами. Вот и теперь я потерял сознание. Когда я открыл глаза, луна уже скрывалась и вокруг было темно. С гор дул холодный ветер. Я замерз и ощущал страшный голод. В лагере на два дня пути мне выдали три гаоляновых мамы – приготовленных на пару булочки, от них осталось всего полмомы. Я торопливо сунул хлеб в рот, но зубы стучали от холода, и кусочек упал на землю – эх, жаль... Начал шарить по земле руками, нашел, в конце концов, сжал хлеб поплотнее зубами и зашагал вперед.

На рассвете я добрался до моста Карауигур. Выбравшийся из могилы призрак не должен сразу показываться на глаза живым. Потому я не пошел большой дорогой, а стал пробираться окольными тропинками и решил, переждав день, войти в Чугучак темной ночью.

Но вдруг посветлело. Над Чугучаком растаял ночной покров, стали видны дома, дымки из труб – с тоской смотрел я на все это. Будто магнитом притягивал меня родной покров, двери домов открывались и словно звали: «Иди сюда, чего медлишь, иди скорей!». Я не утерпел, бросился вперед: «Чугучак! Родной мой Чугучак!..».

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

*Прощай! И нет нам возвращенья вовеки, милая Кульджа.
Что дом и двор? Одно виденье, виденье, милая Кульджа.
С твоей землю разлучила нас беспощадная судьба,
Но в сердце ты моем навеки – навеки, милая Кульджа!*

Эти стихи пронизаны горем, печалью разлук и потерь, они запали с детства в мою память. В дастане «Повествование скорбей и печалей» Саид Мухаммед Каши (им и сейчас гордится уйгурская литература!) рассказал о переселении уйгуров в 1882 году в Россию, в Семиречье, из Илийского округа Восточного Туркестана, о причинах переселения, о том,

как тяжело разлучаться людям с родным краем, как неизлечима тоска по нему. Дастан Саида Мухаммеда Каши – это оставленное нам, потомкам, повествование о бедствиях, постигших в прошлом уйгурский народ. Однако сейчас, в 1962 году, гнет китайских деспотов, возглавляемых Мао Цзэдуном, куда тяжелее притеснений богдыханов прошлых веков! Напишет ли кто-нибудь из бежавших в разные страны дастан о трагических событиях нашего века, расскажет ли когда-нибудь о чудовищных муках и насилии?..

– И не один! Напишут и издадут десятки повествований, появятся и новые Каши. Ваш рассказ о пережитом может стать первым, – заверил я Ибрайима.

– Если бы так, вздохнул Ибрайим. – В подземелье я мечтал о времени, когда смогу поведать всему миру о своих скорбях, о муках родного народа.

– Это время пришло!

– Да. Только услышат ли... – Ибрайим будто смутился, замолчал на полуслове.

– Вы хотели сказать: «Люди мира! Люди доброй воли! Прислушайтесь к нашим стонам! Под руководством Мао китайские палачи разорили нашу страну, хотят растоптать уйгурский народ! Его обрекли на вымирание, замыслили вообще стереть со страниц истории... Неужели вы промолчите, когда попирают ногами человеческую свободу, человеческое достоинство, самого человека?.. Где тот хваленый гуманизм, который вы провозглашаете? Где человеческая солидарность, дружба, товарищество?..» – Это вы хотели сказать. Но сомневаетесь, услышит ли мир, если обратиться к нему с такими словами, да?

– Именно. Если б люди земли услышали и поняли меня, я забыл бы перенесенные муки, израненная душа моя вновь ожила бы, – произнес Ибрайим с волнением. Лицо его осветилось улыбкой надежды.

– Все зависит от нас. Давайте изобличать преступления китайских колонизаторов! Нас никто не остановит, разве не так?

– Да, наверное, так, однако...

– Но пока не будем уклоняться от главного, Ибрайим. Может, продолжите?

– Беды, пожалуй, не будет, если чуточку отвлекусь. Я хочу сказать, что переселение прошлого века было, наверное, совсем не таким, как нынешнее.

– Безусловно. Но одно у них было общим: бегство от притеснений угнетателей, поиски убежища.

– Маньчжуро-китайские завоеватели, – Ибрайиму, видимо, захотелось углубиться в историю, – захватили Восточный Туркестан в 1758 году. С того времени и по 1863 год, на протяжении ста пяти лет, были подавлены семнадцать крупных освободительных восстаний, и после каждого наш народ уходил в другие страны от казней и расправ. А сегодня? Что еще делать, как не бежать подальше от убийц?

– Да, – согласился я с моим собеседником и тоже привел несколько исторических параллелей.

В 1763 году, например, когда восставал Уч-Турфан, за пределы страны бежали пятьдесят тысяч человек, в 1819-1829 годах, после восстаний в Кашгаре, – девяносто тысяч человек; в 1830, 1846 и 1855 годах, после новых кашгарских восстаний, – сто сорок тысяч человек. Четырнадцать лет существовало государство Якуббека-Бадаулета, после его разгрома из Кульджи, Уч-Турфана, Кашгара, Аксу, Хотана бежали в другие страны больше ста восьмидесяти тысяч уйгуров. Беглецы обосновались в основном в долинах Ферганы и Семиречья. Во время подавления каждого восстания убивали сотни тысяч уйгуров... На протяжении только одного столетия за рубеж переселились более пятисот тысяч человек. Истребление нашей нации продолжается до сих пор...

– Ох... Неужели стоны навсегда станут постоянными моими спутниками? – покачал головой Ибрагим.

– Вы хотели рассказать о переселении из Чугучака, так ведь?

Ибрагим потер лоб, словно собираясь с мыслями.

– Да, я очевидец переселения 1962 года.

Люди переселяются? Нет, они бегут. Бегут группами и поодиночке. Одни бегут, решившись и все обдумав, другие – потому, что бегут остальные. Верхом, пешком, с вещами, без вещей. Выйдешь на улицу – люди, будто чумные. Трудно распознать, кто пришел, а кто уходит. Шум и гам, плач и слезы. Рыдают уезжающие, рыдают те, что остаются, – все стонут, все льют кровавые слезы. Ведь сыны человеческие рождаются для радостной жизни в родном краю. Кто сам стремится к невзгодам, скитаниям, разлукам? В те дни я пришел к выводу, что нет, пожалуй, страданий горше, чем расставание с родиной, с родимым домом, с родичами, с возлюбленными друзьями.

Беглецы сразу уйти не решались, обходили по несколько раз дом и хозяйство, завязывали в тряпочки листочки с посаженных и выращенных деревьев, куски штукатурки со стен своих домов, прах с порога... Многие ложились посреди двора грудью на землю и рыдали в голос, словно взывая о помощи...

Я тогда распрощался со многими земляками и пришел к другу-татарину Рауфу. С ним мы когда-то вместе учились у известного просветителя Хисамдина-эффенди, вместе выросли, вместе попали в маоистское решето, да и застряли там...

– Доброго пути, бескорыстный националист! – произнес я, входя в дом. Рауфа в свое время заклеили как «приверженца Уйгурстана», и мы прозвали его «бескорыстным националистом». Ни на «собраниях борьбы», ни в лагере он не отрекся от своих убеждений и не принял фальшивую национальную политику маоистов. Рауф стоял на своем: «Я не требовал ведь Татарстана, я выступал за Уйгурстан...».

– Хотел заступиться за неумех-уйгуров вроде тебя, да вот до чего дошел, – ответил Рауф на мое приветствие. – Говорят же: лошадь покружится – к своему колышку придет, так и мне ничего не осталось, как держать путь к соплеменникам.

– Значит, в Татарстан направился? Как бы то ни было, а у вас есть свои «станы», Рауф!

– Не будем говорить о том, что у кого есть. С древних времен мы народы одной судьбы, и наши радости и горести должны быть общими.

– Одной судьбы...

– По воле обстоятельств я вынужден уехать, покинуть полюбившийся мне народ, но сердцем я всегда с вами...

– Спасибо за добрые слова, друг. Искренние намерения – знак помощи!

– Сам-то что думаешь делать?

– От родины оторваться не могу... Если уж не останется никакой возможности жить и трудиться, пойду по твоим стопам.

– Не упускай момента. Сегодня китайцы открыли границу, даже не глядят на бегущих, а завтра закроют. Сам знаешь, лучше действовать наверняка. – Рауф зашептал мне на ухо: – Будем за русских держаться – избежим тяжелых дней...

Проводив Рауфа, я осиротел окончательно.

БЕЗ КРОВА В РОДНОМ КРАЮ

В отчем краю, под родным небом, я стал бесприютным скитальцем. Даже не знаю, с чем сравнить свое положение в те дни. С заплутавшим в степи гусем? С одиноко летящим журавлем? Или с отбившимся от табуна жеребенком-сосунком?..

Я блуждаю, как безумный. Не знаю, куда идти, не знаю, что делать, потерянно брожу из улицы в улицу. Оставленные земляками дома напоминают разверстые могилы. Брошенные псы воют, задирая к небу морды, словно призывают кару на притеснителей. Я не один такой, мало ли несчастных бродяг в Чугучаке... Коснешься кого – принесешь несчастье. Потому и обходишь земляков стороной. Друг Рауф оставил мне на шесть цзиней продовольственных талонов, из этого «котла» я кормился несколько дней. Сегодня «старшие братья» из внутреннего Китая захватили дом Рауфа, и я снова оказался на улице. Жилища многих беглецов еще пусты, но не сегодня-завтра ими завладеют «старшие братья». Бродяг вроде меня вышвыривают без церемоний. Эх, скитаться в родном краю без крова – мука потяжелее смертной...

Ибрагим замолк. Всеми помыслами он сейчас перенесся в свой маленький городок. Вновь переживал жестокость китайских чиновников – на измученном лице проступили страдание и гнев. До слез сочувствуя ему, я сидел тихо.

– О чем я говорил? – вдруг глянул на меня Ибрагим и, прежде чем я ответил, продолжал:

– В ту ночь я будто тронулся умом. Бродил у брошенных домов, вдоль заборов, окружавших ветхие мазанки.

От одиночества, бесприютности я едва не начал заговариваться. «Жаль людей! Жаль сады!.. Жаль дома!..» – стонал я, слоняясь по печальному Чугучаку. Кто мог откликнуться, кто мог услышать мои стоны, кроме брошенных жилищ, старых стен, искалеченных деревьев (их обрубали во время кампании по выплавке стали)? В конце концов я уныло опустился на землю, прислонился к полуразвалившемуся глинобитному забору...

*У илийской шапки мех
По краям не стирай.
Этот мир – вечный мир,
Ты надежды не теряй!..*

Трогательный напев, неизвестно откуда возникший в темноте, заставил меня раскрыть глаза, прислушаться. Я едва разобрал первые строчки, зато пришел в себя, взбодрился. «Этот мир – вечный мир, ты надежды не теряй...», – повторил я несколько раз. Слова мудрые, как отцовский завет, как материнский наказ. Я вскочил и быстро зашагал прочь.

Перед рассветом сгустились тучи, закапал дождь. Меня потянуло к нашему дому; наверное, от холода. Я безвольно направился туда.

Прошел мимо здания «уйгурского союза» (был когда-то такой), повернул направо, и тут передо мной возник человек, ведущий в поводу осла, навьюченного снопами чия. Мы испугались друг друга, замер ли. Но еще миг, и я узнал стоявшего передо мной:

– Э, да это же Рехим-ака!

– Ибрагим, что ли? Чего бродишь на рассвете?

– Дышу спозаранку чистым воздухом, гуляю по улицам.

Рехим-ака, весельчак по природе, рассмеялся:

– Верно. Шарим по улицам, как голодные собаки. Пошли ко мне, а то промокнешь под дождем.

– Спасибо, Рехим-ака.

– Боишься за меня, что ли? Так чего уж бояться? Сохраним живую душу хоть на день. А завтра – хозяин-бог.

Я пошел за ним. На душе словно просветлело. Рехим-ака слыл искусным сапожником. Ему давно перевалило за шестьдесят, но сшитые мастером сапоги никогда не расползались по швам. В лавке Рехим-ака прежде всегда было полно людей, там звучали шутки и смех, обсуждались городские новости. В Чугучаке мало кто не знал моего спутника.

– Не спала, видно, меня все выглядывала, – заворчал Рехим-ака, когда жена открыла перед ним створки ворот.

– Господи, да вы совсем промокли, идите скорее в дом! – Женщина потянула за повод.

– Ты, жена, за повод не берись. Разожги-ка побыстрее огонь да приготовь нам горячего чайку.

Тетушка Айшихан убежала в дом.

– Подойди, сынок, давай избавим от груза эту тварь.

Мы сложили под навес чий, привязали в конюшне ишака. Когда вошли в дом, тетушка Айша уже растопила печку.

– Снимай верхнюю одежду, развесь на печи. А я чуть-чуть отдохну. – Рехим-ака ушел во внутренние покои.

Как давно не был я в обставленном по-уйгурски доме! А тут еще тетушка Айшихан проворно прибирает чистенькую комнатку. Мне сразу вспомнилось, как так же точно хлопотала по дому мама, стало по-особенному тепло. Эх, будь здесь мама, я, измученный голодом и усталостью, вытянулся бы у печки, положил голову ей на колени и сладко заснул...

– Не будите, он спит так сладко...

Я расслышал эти ласковые слова, но глаза мои никак не хотели раскрываться. Мне даже представилось, будто я лежу дома у отца с матерью.

– Ибрайим, сынок, ты не спишь? – Рехим-ака тихонько тряс меня за плечо.

– Не сплю, только глаза чуть-чуть слиплись.

– Попей вот горячего, сынок, вспотеешь, усталость и пройдет. – Старушка заботливо разостлала передо мной скатерку, поставила чашку затирки и проворно вышла. С чем сравнить мне эту затирку?

– Целебная еда?

– Вот, вот! – обрадовался подсказке Ибрайим. – Это была для меня именно целебная еда. Затирка, сдобренная петрушкой, разогрела тело до пота, вызвала прилив бодрости.

Я от всей души поблагодарил хозяев за гостеприимство. Потом спросил:

– А что не видно ваших дочек, дядя?

– Дочек? – задумался дед. – Вот в дочках-то все и дело, сынок!

– Как так?

– Нет их дома, и мы связаны по рукам и ногам. Будь они здесь, мы давным-давно сидели бы на том берегу.

– Где же они?

– В Урумчи. Отпустил на свою голову!..

Обе дочери Рехим-ака были красавицы. Младшая, Махиниса, казалась мне чистой, как прозрачный воздух, она давно уже заняла уголок в моем сердце, и я ревновал ее ко всем на свете.

– Нам со старухой кусок в горло не лезет, сон на ум нейдет: не знаем, как вернуть домой свет наших очей.

– А не пытались съездить за ними?

– Куда мне ехать? Чуть-чуть пройду – дыхание перехватывает, – вздохнул дед. Я увидел слезы в его глазах...

– Может, мне попытаться съездить в Урумчи, помочь вашим дочкам возвратиться?

– Я и не заметил, как сорвались с моих губ эти слова.

– Спасибо, сынок! Молодец! – вскочил Рехим-ака. – Ты прошел через многое, ты сумеешь... Денег на расходы у меня хватит...

И вот я снова отправился в путь. Нужно было, во что бы то ни стало найти и отправить дочерей Рехим-ака домой, в Чугучак.

ФАЛЬШИВЫЕ СВОБОДЫ

Оголтелая кампания «Три красных знамени» закончилась неожиданно для тех, кто ее начал: разразился экономический кризис, выявились несостоятельность и убожество маоистов, и никто уже не верил больше их лживым обещаниям. Маоисты продолжали заклинять народ словами о «божественном могуществе» Мао Цзэдуна, сулили «блестящее будущее», но люди изнемогли, у них не осталось сил идти к этому будущему. Оцепенели, перестали работать сотни миллионов людей. И тогда на какое-то время затих выматывающий душу галдеж, прекратилось проевшее печенки хвастливое пустозвонство, смолк гром прогневших политических лозунгов. Страна пришла в упадок, она оказалась в таком состоянии, будто только что пережила кровавую войну или ужасное стихийное бедствие.

А кто виновник несчастья? Кто главный преступник? Эти вопросы пребывали без ответа, да и кто посмел бы спрашивать? Власть оставалась в руках чиновников. Они засуетились, стараясь замазать народу глаза, скрыть свои преступления. В конце концов, объявили некоторые свободы и произвели на свет лживый проект так называемого «исправления ошибок». Даже возвратили на прежние должности интеллигентов, угнанных под предлогом «большого скачка» и «выплавки стали» на каторжные работы в горы и пустыни.

Во время этого короткого затишья я приехал в Урумчи и оказался среди студентов. Здесь знали о бегстве из Кульджи и Чугучака.

Молодые люди были настроены против маоизма и китайских чиновников, волновались, хотели ехать вместе с родными в Советский Союз и потому ринулись за билетами в Кульджу и Чугучак. Маоистов обозлило это открытое проявление недовольства, и они решили принять немедленные меры.

С 24 апреля 1962 года прекратилось сообщение между Урумчи, Кульджой и Чугучаком. Администрация департамента высшего образования в союзе с полицейскими принялась обшаривать город, прочесывать улицу за улицей, ища уезжающих студентов и рабочих. Бедняг хватали, как бездомных собак, избивали, бросали в крытые машины и увозили неизвестно куда.

Дочек Рехим-ака я встретил в этом хаосе совершенно случайно. Девушки с надеждой ухватились за меня. Я казался им опорой в беде.

– Ибрагим-ака, отвезите нас в Чугучак, – просили они.

Что мог я пообещать бедняжкам? Совсем недавно отъезд был совершенно реален, и вдруг – в один день – обстановка преобразилась.

– Отец написал, что вы нас привезете, Ибрагим-ака!

– Сейчас туда не летают самолеты, не ходят машины. Как же я повезу вас, милые сестренки?..

Смотреть им в глаза невозможно. Сердце колет тоскливая мысль: «Бестолочь, слово дал отправить девушек в Чугучак!» Я ненавижу сам себя: наобещал сдуру бог знает что, обнадежил людей... Бывает ли большой срам?

Старшая, видно, догадалась, о чем я думаю:

– Ибрагим-ака, езжайте в таком случае с младшей, с Махинисой...

– Ладно, хорошо. Попытаюсь, душа из меня вон! – пробормотал я.

А девушки, не найдя, видно, подходящих слов благодарности, заключили меня в объятия.

Мало того, что я находился в опасности сам, так взялся еще за непосильное дело – выхватить из огня Махинису и доставить ее в добром здравии родителям.

Махиниса – ей только-только исполнилось семнадцать – сидит передо мной. Она еще ничего дурного не видела в жизни, ни разу не отведала горя. Ее грустное чистое лицо, ее черные, как ночь, глаза, прикрытые густыми ресницами, излучают надежду и тревогу.

– Ибрагим-ака, – она доверчиво смотрит на меня, – а что если я остригу волосы, надену мужскую одежду, меня ведь никто не узнает?

– Ваши косы ниспадают до пят и очень вам к лицу. Как можно срезать такие прелестные волосы, сестренка?

Да и нет никакой нужды переодеваться в мужскую одежду. Не волнуйтесь, Махиниса, что бы там ни было, а в Чугучак я вас доставлю, – успокоил я девушку. Но сам-то в душе не слишком верил в свое обещание.

– Выедем сегодня же, ака, да? – торопит она меня.

– Прежде устрою вас в надежном месте, найду машину...

– О господи... Опять ждать?

Я повел Махинису переулком к району Сайбог (Пересохшее русло), где жил земляк и давний приятель. Девушка, как прирученный козленок, послушно шагала за мной.

Я был в Урумчи четыре года назад. В глаза бросались заметные перемены. Прежде всего, город заполнили приезжие. Местные жители теперь встречались редко, как фасоль в супе у бедняка. Из внутреннего Китая непрерывно везли и везли «старших братьев». Слово муравьи, они во множестве расползлись по городу.

Мы подошли к пересохшей речке. Послышался похожий на рев быка гудок паровоза. Он словно предупреждал местных жителей: «Я привез из Китая людей, а увезу туда богатства Синьцзяна – скот и продовольствие!..» Мы миновали еще несколько улиц и наконец добрались до дома моего земляка. Я стукнул несколько раз в ворота, кто-то подошел с той стороны, осторожно заглянул в щель, спросил:

– Кого надо?

– Тудуш, ты?

Молчание.

– Да открой же, братец!

Громыкнул засов. Тудуш впустил нас в маленький дворик, не спросил ни о здоровье, ни о благополучии, вышел на улицу, глянул по сторонам, вернулся, закрыл калитку и только тогда приблизился к нам вплотную:

– Не обижайся, друг, времена такие, что и себя подозревать начинаешь. – Он взглянул на Махинису: – Извините, сестренка! – и поздоровался с ней.

– Вы нас извините, беспокоим ночью, – ответила Махиниса.

Тудуш пригласил нас в дом. Он жил в двух комнатках. В первой спали вповалку четверо ребятишек.

– Проходите, – Тудуш повел нас во вторую комнатку. – Экономим масло, ложимся спать с курами.

– А где же Зенетхан?

– Э-э, – Тудуш стащил со лба распоровшуюся тибетейку, почесал рано поседевшую голову, – заботы о пище... Зенет утром еще ушла поискать чего-нибудь, и до сих пор нет ее!

– Земляки, когда снаряжали меня в Урумчи, дали продуктов и продовольственных талонов. Мы поделимся с тобой.

Тудуш взглянул на дверь первой комнатки.

– Буди ребят, накормим их. – Я догадался, о чем он подумал.

– Я вскипячу чай, – встала Махиниса.

– Некрасиво получается...

– Что некрасиво? Мы же свои. Потолкуем по душам, пока сестренка Махиниса кипятит чай.

Махиниса, не слушая возражений Тудуша, занялась в комнатке чаем. Ребятишки подняли головы, уловили, верно, запах хлеба. Старшая девочка стала помогать Махинисе.

– Ну-ка, открой мне свою тайну: чего шатаешься в наших местах? – прошептал Тудуш.

Я коротко рассказал обо всем.

– А теперь надо спрятать Махинису, пока найду машину, – этими словами я закончил.

– Спрятать? Как спрячешь? – испугался Тудуш.

– Тише, не дрожи.

– Да ведь проверяют по домам, можно сказать, каждый день. Не сообщишь в полицию о приехавших – карают.

– Мог и не говорить – сам хорошо знаю. Но, приятель, не бывает же безвыходных положений! – воскликнул я в сердцах.

– В дом вселились «старшие братья». Мы едва помещаемся в своих клетушках. Да еще соседи – следят за каждым шагом, – начал плакаться Тудуш.

– Не хнычь, приятель. Такого многодетного, как ты, и вообще затруднять бессовестно.

– Постой, постой! – Тудуш сразу вспомнил о чем-то, положил руку мне на колено. – Девушку спрячет тетушка Хелима. В прошлом году у нее скрывались двое студентов – от издевательств маоистских негодяев.

– Если ты ей веришь, с меня довольно. – Я раскрыл хоржун – переметную котомку, извлек с десяток булочек, испеченных матерью Махинисы, около двух цзиней копченного и вареного мяса, дал Тудушу на десять цзиней продовольственных талонов. Он растерялся от свалившегося на него богатства, крепко обнял меня и, наконец, не сдержав чувств, громко всхлипнул.

Махиниса накрыла чай на круглом столике. Детей у Тудуша четверо – девочка и три мальчика. Старшей – десять, младшему два года. Все одинаково тощие, с голодными глазенками, с тоненькими, как палочки, ручонками – дунь, и улетят. Как увидели хлеб и мясо – замерли в томительном ожидании, не сводя глаз со стола, а потом сразу, дружно вцепились в хлеб.

– Оставь хлеб, я сам разделю! – вскричал Тудуш.

Дети будто не слышали, мельком глянули на отца – мол, убьешь, все равно не отдадим – и принялись торопливо, почти не жуя, глотать куски. Самый меньший подавился. Тудуш хлопнул ребенка по спине, и у того изо рта выпала корочка. Бедные голодные дети! Они тут же протянули ручонки к «убежавшему» кусочку... Я не смог спокойно смотреть на все это. У Махинисы закапали слезы из глаз, она взяла малыша на руки, размочила в чае полбулочки и стала кормить его.

– Вот такую жизнь устроили нам! – простонал Тудуш.

Он уже не сдерживал ребятишек. Я разрезал на кусочки вареное мясо, раздал детям. «Пир» удался. Все наелись досыта, а завтрашний день предоставили воле божьей.

Попозже, когда город заснул, Тудуш повел нас к тетушке Хелиме.

Весенний воздух полон ароматов. Искрятся звезды в небе, освещая нам путь. Теплая ночь молодит сердце, согревает душу радостью! Эх, хоть бы раз набрать свободно полную грудь чистого воздуха! Хоть раз вздохнуть без горя и печали!.. Продукты и одежда уложены в две котомки, одну несу я, другую – Махиниса; мы идем, переглядываемся. Нас охватила бурная жажда свободы, сердца наши бьются слаженно, бьются в каком-то прекрасном порыве, словно именно сейчас суждено исполниться заветным нашим мечтам. Редко в жизни переживаешь такое всеобъемлющее чувство единения с жизнью, миром, с весной; замять о нем сохраняется надолго и чаще всего оживает тогда, когда на тебя обрушиваются тяжкие беды.

– По-моему, – глаза Махинисы сияли, – счастье – это не призрак. Я верю, что моя счастливая звезда существует и светит так же, как звезды на небе...

– Для счастья человеку нужна свобода, Махиниса!

– Если будет возможность, поступлю в медицинский институт. Самое важное в мире – сохранение человеческих жизней.

– Недаром говорят, «человек растет мечтами и надеждами». Будем, сестренка Махиниса, надеяться на будущее и уверенно идти к нему.

– Я и сейчас иду уверенно, ничего не боюсь! – решительно сказала Махиниса, искренно веря в свои слова. Обыкновенная семнадцатилетняя девчонка начала закаляться под первыми ударами суровой жизни. Я посмотрел на нее вдруг совершенно по-иному...

Мой собеседник немного смутился, но после секундной паузы вернулся к рассказу.

Опьяненные весенним воздухом, мы забыли об осторожности. Хорошо, что нам никто не встретился, кроме таких же, как мы, искателей ночлега, задержавшихся на работе урумчинцев да голодных горожан, готовых в поисках еды обшарить всю вселенную.

Тудуш привел нас на окраину города, к крохотному домику возле кладбища. Он пролез сквозь дыру в плетне, приник к дверному косяку, сказал что-то, и дверь отворилась. Появилась женщина, взгляделась в нас:

– О господи... Еще двое! Что за выходки, Тудуш?

– Идите сюда! – махнул нам Тудуш, будто не слышал ее.

Комнатка была крохотной, как сама хозяйка – маленькая женщина с туго перетянутой талией, похожая на веник из ковыля.

– Что, дочка, испугалась тесноты? Будь домик попросторнее, приезжие чжангуйды не оставили бы нас в покое. Садись, милая, не стесняйся, – пригласила тетушка Хелима.

Махиниса, глянув в мою сторону, присела, подогнув колени, как благовоспитанная девушка.

– Она...

– Хватит, знаю, – перебила Тудуша тетушка Хелима. – Хотите оставить дней на пять – десять? Если характер хороший, пусть хоть год живет, не упрекну...

– Она ребенок, чище молока...

– Не болтай лишнего, Тудуш! Знаешь же, что не переносу тех, у кого постоянно открыт рот.

– Всего четыре-пять дней сохранить бы девушку...

– Ишь – сохранить! Здесь что – перстень-хранитель святого Аппака-ходжи?

Мы рассмеялись словам тетушки Хелимы.

– Девушка, во-первых, хранит себя сама, а во-вторых, ее хранит господь, – заговорил было снова Тудуш, но тетушка Хелима неодобрительно нахмурила брови:

– Не беспокойтесь!

– Улажу с машиной и приду. – Я вручил женщинам продукты и продовольственные талоны на десять цзиней.

– Увидите сестру, передайте, пожалуйста, записку – Махиниса написала что-то на клочке бумаги.

В следующие два дня не было щели, куда бы я ни пролез, двери, в которую бы не вошел: обежал все станции, все гостиницы, но машины на Чугучак так и не отыскал. К шести часам вечера второго дня я поспешил, как было условлено, к народному театру – встретиться с сестрой Махинисы. Девушки там не оказалось. Уж не попались ли?

Прождал два часа, собрался уходить, как вдруг передо мной возник незнакомый человек:

– Стой!

Тут же появился другой.

– Пойдем!

– Куда?

– Там узнаешь.

– Фальшивая свобода, – вздохнул я, но моих слов никто не расслышал...

СЕМНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ В ТЮРЬМЕ

Двое ищеек из охранного отделения защелкнули на мне наручники. Я не обратил на это особого внимания – все это мне было не в новинку. Мысли мои были с Махинисой: неопытная девчонка осталась в опасности, одна. Что станет она делать? Ну, прождет день, другой, неделю, пусть даже месяц, а потом что?..

Меня ввели в кабинет.

– Садись, Ибраим! – Следователь за столом пристально взгляделся в меня и приказал охранникам снять наручники.

Я огляделся по сторонам.

– Чего озираешься? Не пугайся, – принужденно улыбнулся следователь.

– А чего мне пугаться? Преступлений не совершал.

– Ты преступник до конца жизни! – заорал следователь.

– Конечно, я уже родился преступником...

– Да ты, оказывается, краснобай!.. Знаешь, где находишься?

– Откуда мне знать? – прикинулся я простачком.

– Хитрить можешь в Чугучаке, а здесь Урумчи! С какой целью приехал? С кем встречался, чем занимался? Говори без утайки! – потребовал следователь. Я вспомнил о записке Махинисы, сердце беспокойно забилося. Засунул потихоньку руку в правый карман бешмета, начал мять, комкать записку, стараясь порвать ее.

– Эй, ты с неба свалился, что ли? Не выводи меня из терпения!

– Приехал брата проведать, студента...
– Врешь! – закричал следователь. – По чьему поручению приехал из Чугучака?
– Младший брат...
– Мерзавец! Я что тебе сказал?!
– Разве есть такое правило, чтобы хватать безвинных? – перешел я в атаку.
– А как же Махиниса? – Немигающие глаза, точь-в-точь как у дикого кота манула – водятся в наших местах такие, – впились в меня. Вопрос ударил в сердце. Как пуля, я совершенно смешался.

– Что, герой, теперь не вывернуться? – В глазах Манула сверкнула ехидная улыбка.
– Ни с какой Махинисой не знаком, – решительно заявил я.
– Упрямец!.. – Следователь (я про себя так и назвал его – Манулом) выкрикнул несколько непотребных слов, подскочил ко мне и вlepил оплеуху. Из глаз посыпались искры, я покачнулся и рухнул на кирпичный пол. Когда открыл глаза, тюремщики обшаривали мои карманы. От них, как от козлов, несло китайским луком цзю-цаем.
– В третью! – коротко приказал Манул тюремщикам.

Меня выволокли в коридор, открыли окованную железными полосами дверь, и швырнули в камеру, словно падаль. Не скажу, сколько провалялся я на полу этой могилы для живых, среди сырости, вони, ползавших по мне насекомых... Наконец поднял голову – передо мной сидели два уйгура и китаец. Они были как призраки. Только в глазах едва мерцали искорки жизни...

– Хватит, пожалуй, на сегодня. – Я видел, как взволнован и расстроен Ибрагим. Я ведь и сам провел семь мучительных лет в китайских зинданах, был сослан на три года в пустыню. Зинданы издревле служили «великодушным» властителям страшным средством истязания людей, и я знал, что самый кошмарный день там – первый.

Ибрагим согласился со мной. Скорбное повествование продолжилось в следующую нашу встречу.

Тюрьма города Урумчи считалась центральной среди зинданов всего Восточного Туркестана. Сердце свободного человека трепетало только при одном ее упоминании. Это средоточие насилия маоисты начали строить сразу же, как пришли к власти, с 1949 года. «Гунаньтин» – департамент общественной безопасности – был воздвигнут прежде всех необходимых народустроек – школ, клубов, библиотек, больниц. Его пристроили к тюрьме – теперь допросы, истязания, пытки, расстрелы сошлись в одном месте. Жуткое учреждение сдавило Урумчи точно железной лапой.

Сюда я и попал – в третью камеру громадной тюрьмы. Она состояла из шести веером расходящихся корпусов. В первое время мне буквально не давали присесть – таскали и таскали на допросы. Вот и теперь тот самый следователь, Али Юсуп, с коричневыми глазами, ждет меня, как голодный коршун.

Едва я ступил за порог кабинета, он выпрямился, наклонился ко мне – словно собрался проглотить живьем:

– Одумался?
– Что вы имеете в виду?
– Дурак! – Манул взмахнул кулаком, но почему-то не ударил. – Ладно. Я задам тебе всего один вопрос. Не ответишь – покажу такое, что все высосанное тобой в младенчестве материнское молоко носом выйдет!
– Что знаю – скажу...
– Какие поручения дали тебе советские ревизионисты?
– Что-что? – Я поперхнулся от удивления.

– Ты приехал по их поручению...

– Нашли все-таки, какую басню сочинить, – возмутился я. Видимо, мой ответ прозвучал слишком правдоподобно, и удивление было неподдельным.

Али Юсуп сверкнул своими кошачьими глазами и сел на стул.

– Все равно доберусь до сути, – проворчал он после продолжительного молчания.

– Выкладывай все о своих связях с просоветскими ревизионистами в Урумчи!

– И это клевета, – спокойно возразил я.

– А что скажешь, перевертыш, о записке? Ее у тебя ведь нашли, а? – Манул торжествующе помахал клочком бумаги, склеенным из кусочков.

«Как же это? Даже не прочел... – укорял я себя. – Путать, путать и путать, другого выхода нет...».

– Что, упрямец, и слова не можешь вымолвить?

– Не знаю, кто-то, наверное, подsunул мне бумажку в карман, оклеветать хотели...

– Болван! И нас еще глупцами выставить хочешь? – Следователь поднес бумагу к моим глазам, внятно прочел: – «...нахожусь на пороге тяжелой борьбы, твоя сестренка Махиниса...». Ну, завравшийся джигит, против кого собирается бороться твоя Махиниса? В какую организацию, кому ты должен был доставить записку?

Я не слышал последних слов Али Юсупа. От сознания собственной идиотской неосмотрительности я впал в состояние безразличия.

– ...укрываешь самых опасных наших врагов и потому движешься к смерти. Других жалеешь, а себя обрекаешь на нескончаемые муки, глупец!

«Других жалеешь...» – повторил я про себя. Слова Манула верну ли мне рассудок и осторожность. «Приму все муки, вынесу все невзгоды!» – решил я.

– Не знаю никакой записки, никакой Махинисы...

– Да⁹! – раскрыл глотку Манул. Два рослых тюремщика сбили меня с ног и принялись пинками перекатывать друг к другу...

Я пришел в себя лишь на следующий день. У изголовья сидели трое товарищей по заключению. Один поддерживал меня за плечи, другой держал глиняную чашку, китаец выжимал мне в рот воду из мокрой тряпки. Они ворчали о чем-то по-китайски, и время от времени гневно, будто кому-то в лицо плевали на пол.

Я пролежал без сил четыре дня. Несколько раз начинал харкать кровью. Китаец Чжао стучал в дверь камеры и требовал врача. Но маоисты, видно, хотели подорвать мою волю и последние силы – никакой медицинской помощи не оказали.

За мной ухаживали товарищи по зиндану. Они были лучшим лекарством от боли. Голодали, чтобы накормить меня, напоить, поставить на ноги. Кульджинец Аблиз. Шестой год он проводит в застенке. Аблиза обвинили в том, будто он возглавлял ячейку союза по воссозданию Восточно-туркестанской республики. Этот союз объединял железнодорожников, углекопов и уланбайский национальный полк. Второй товарищ – Илахун – из Курля. Он сидит два года как «элемент, враждебный китайским старшим братьям», за то, что сказал когда-то: «Они приезжают не помогать, а усмирять». Китайского джигита Чжао перевели в свое время на работу в Синьцзян из Шанхая. Здесь он высказался против подлой и бесчеловечной национальной политики маоистов. Его причислили к «правым уклонистам» и бросили в тюрьму более четырех лет назад. Но к Чжао тюремное начальство и надзиратели относятся все же иначе, чем к нам: ему доступны кое-какие новости, он знает, что происходит внутри и вне зиндана.

Однажды среди долгой, беспросветной тюремной ночи Чжао сказал:

⁹ Да (кит.) – бей.

– Вы злы на китайцев, ненавидите нас. С одной стороны, конечно, основания для ненависти у вас есть. Китайские чиновники действительно не принесли ничего хорошего, они обрекли местные народы на гнет и нищету...

– Так почему же у нас не может быть права на ненависть? – приподнялся Аблиз.

– Вот если бы наша ненависть вылилась в мощное, организованное сопротивление! – добавил я.

– Я не из тех, кто боится правды или утаивает ее, – ответил Чжао после долгого раздумья. – Ваши земли захватили с оружием в руках правители нашей страны. В XVIII веке это сделали император Цяньлун и его кровавые генералы Чжао Хуэй, Яо Хашань, в XIX веке палач Цзо Цзунтан, XX веке – Чан Кайши и Шэн Шицай и уже в наши дни – Мао и его преступная клика. Но можно ли из-за них обвинять весь китайский народ?

– Конечно, главарей – кровопийц и угнетателей – нужно рассматривать отдельно от народа, из которого они вышли. Но ведь эти главари действуют как бы от имени своего народа, стараются этот народ вознести над другими... – возразил Аблиз. Он всегда спорил с Чжао по национальному вопросу.

Какие только книжные доводы не приводил Чжао, какие захватывающие картины национального равенства, всеобщей дружбы и процветания не рисовал он! Однако уши наши давно отяжелели от бесконечного, далекого от жизни красноречия, мы боялись поверить в новые призраки. Да и как, в конце концов, уповать на «прекрасную жизнь», если не знаешь, проживешь ли в спокойствии хоть день – без угроз и насилия!

– Смогу поверить в твои слова лишь тогда, – отвечал Аблиз, – когда ты и такие, как ты, возглавят страну.

– И то судить будем не по словам, а по делам, – добавил я.

– Вот и хорошо. А не получили б взбучки от маоистов, и до такого понимания, наверное, не дошли бы.

– Есть пословица: палка и слона ученым моллой сделает. А сколько еще спят в неведении, друг Чжао! – воскликнул Аблиз.

– В 1957-1958 годах, когда шла дискуссия по национальному вопросу, маоисты подучили некоторых местных руководителей выступить с разоблачением маоистской национальной политики. Те высказали справедливые и смелые мысли, и сейчас же на выступавших обрушились кары, и они покаялись в былых заблуждениях...

Я не успел досказать, загремела, обитая железом дверь, на порог возник стражник с фонариком в руках:

– И-бу-лай-ин! Вставай!

На этот раз Али Юсуп предстал передо мной в форме офицера охранных войск – суровый, как палач. Он был не один, у края стола сидел китаец с похожим на деревянную ложку лицом, с глазами круглыми, как пуговицы. Он важно скрестил тонкие ножки – наподобие щипцов для угля. Следовало понимать дело так, что по должности он был выше Али. Китаец внимательно оглядел меня с головы до ног, будто собирался кроить мне одежду. Скривился и повернулся к Али Юсупу:

– В моем присутствии пусть говорит только правду.

Али перевел.

– Я не лгал ни разу, – был мой ответ.

– Мы не против тебя, мы против твоего ошибочного мировоззрения. Мы стремимся излечить тебя, свести с неверного пути. Поэтому откройся нам полностью, не утаивай своих идеологических заблуждений. – Китаец с похожим на ложку лицом еще раз внимательно оглядел меня.

– Хватаете на улице, как бешеную собаку, избиваете... Разве так лечат?

– Мы обвиняем тебя, а не ты нас. Не станешь кротким – будет плохо. – Лицо-ложка угрожающе вытянулось на тонкой, длинной шее.

– Да есть ли более кроткие сыны человеческие, чем мы? Все делаем, что ни скажете!

Китаец при этих словах злобно дернулся, метнул взгляд на Али Юсупа. Тот, словно соглашаясь с хозяином, гневно поднял руку:

– Ты отъявленный упрямец и дурак!

– Ты, – китаец старался оставаться хладнокровным, внушительным, – поддерживаешь Советы. Ты – сючжэнчжуйчжэ, ревизионист!..

– А разве плохо поддерживать Советский Союз?

– Ты шпион! Ревизионист! – завопил он, утратив всю свою представительность.

– Неправда!

– Знай, шпион, ядовитые советские сорняки вроде тебя будут вырваны с корнем!

У меня перехватило дыхание. Как же так? Кому неизвестно, что китайская революция победила только с помощью Советского Союза? Что Советское государство помогло Китаю в экономическом строительстве? А теперь они хулят и чернят своих благодетелей. Как у них язык поворачивается?

– Не криви рот, выворачивай лучше свое нутро!

– Странно, – я поднял голову, – ведь сами же кричим, что Советский Союз наш старший брат, будем учиться у Советского Союза, а теперь...

– О, да ты и нас ревизионистами хочешь сделать, мерзавец! – Китаец вскочил и, наверное, нажал кнопку – появились двое рослых тюремщиков.

– Дися! Вниз! – приказал он.

Меня опять сбили с ног и поволокли вниз, как старый палас.

Я слышал от узников, что у маоистов много разнообразных приемов истязания людей, да и сам кое-что испробовал в «трудовых лагерях», на «выплавке стали»...

Тюремщики распластали меня на скамье, привязали к ней упругой тонкой бечевкой, затолкали в рот ваты. Потом они облили меня водой. Бечевка намочла, впилась в тело, будто прорезала его во многих местах, от чудовищной боли потемнело в глазах...

Когда я открыл глаза, следователь-уйгур и два палача-китайца весело переглянулись.

– Теперь скажешь, с каким поручением приехал? Кто твои урумчинские сообщники?

Я молча закрыл глаза.

– Темнота, – произнес Али, будто жалея меня. – Зря страдаешь из-за русских. С ними у нас была временная любовь. Они всегда только мешали нам. Что ж они благодетели, не спасают тебя? В наших руках не только ты – еще и Ташполат, что работал в консульстве.

– Никто не смеет чернить Советский Союз! – закричал я изо всех сил.

– Продался русским! – завопили палачи.

Все кипело во мне, ненависть к маоистам затопила душу. Я опять закрыл глаза и поклялся не называть ни одного имени, выдержать любые пытки и истязания...

– Ибрагим, пожалей свою молодость. Всего одно слово, и избавишься от мук. – Холуй Али перешел к уговорам; дает понять, что он «уйгур» и сочувствует земляку.

– Сам страдаю по навету, но на других клеветать не буду!

Палачи принялись пинать меня ногами...

Когда я снова пришел в себя, Али ложкой вливал мне в рот воду.

– Что бы там ни случилось, а мы с тобой соплеменники. Мне жалко тебя. И досадно, что ты страдаешь из-за русских нечестивцев.

– Перестань болтать! Наймит!.. – из последних сил еле-еле пробормотал я.
– Ревизионист! Проклятый ревизионист! – швырнул ложку. – Шестую ему! – приказал он.

Истязатели поставили скамью так, что голова моя оказалась внизу, а ноги вверх. Вставили в нос воронку, влили через нее настой горького перца. Ох, что сказать, как описать эту муку... Через горло внутрь ползла струя пламени, другая жгучая струя пробиралась в мозг, глаза полезли из орбит, тело запылало. Я снова потерял сознание...

В далеком детстве мы, мальчишки, забили собаку – ее кто-то назвал бешеной. Оттащили в овраг, забросали камнями. А назавтра «убитая» собака уволокла из курятника соседей ярко-красного петуха... Наверное, маоистские палачи тоже решили, что замучили меня до смерти, втащили в мертвецкую, а следующей ночью понесли зарывать. Я вдруг поднял голову. Надзиратели вскричали: «эй-яу», выпустили плетеные носилки и кинулись наутек.

Я долго лежал на земле в чем мать родила. Чистый воздух, наверное, и привел меня в чувство. Я ощутил свежесть, даже в глазах просветлело. Я понял, что надо мной надругались хуже, чем над бешеным псом, и зарыдал, глотая кровь.

Наконец собрались стражники. Удивленные моим воскрешением, они погалдели немного, утащили меня в камеру и швырнули на голый пол...

И опять трое друзей разделили мое горе – Аблиз, Чжао и Илахун. Я – дитя, они – мать, я – раненый, они – сестры милосердия, я – больной, они – врачи. Заботливые товарищи вернули меня к жизни.

Мое лицо и туловище сплошь покрылись красными нарывами, как при кори, – наверное, от залитого в нос перца. Любое прикосновение к телу рождало жгучую боль. Лежать нельзя было ни на боку, ни на спине, ни на животе. Подкашиваются ноги – становлюсь на колени. Сплю, будто подвешенный – как нетопырь. Товарищи поддерживают меня... Через десять дней болячки чуть подсохли, и я смог спать лежа. Есть ли на свете большее блаженство, чем выспаться всласть?..

Когда у человека впереди определенная цель, то, даже попав в беду, он так просто не погибает, если, конечно, соберет всю свою волю. Я научился презирать маоистских палачей-колонизаторов. В единоборстве с недругами я глубже осознал истинный смысл жизни.

Сильно повлияли на меня товарищи по зиндану – знающие, опытные, борцы со стальной волей. Я стал различать правду и ложь, определять, кто друг, кто враг, кто угнетатель, кто угнетенный. Муки и невзгоды укрепили и закалили меня.

Семнадцать месяцев провел я в тюрьме. Выдержал за это время сорок два допроса – с угрозами, угрозами, пытками. Выдержал, не поддавался маоистам!

Сколько раз переводили меня из камеры в камеру за последние шесть месяцев! Видно, боялись, что узники, долго находясь вместе, сделаются единомышленниками, и потому перетасовывали их. Частые перемещения пошли мне на пользу. Почти все заключенные, к какой бы национальности они ни принадлежали, убежденно отвергали режим Мао, его диктатуру, его политическую линию, требовали свободы для людей.

Калман хотел демократических прав для своего народа – приговорен к девяти годам; уйгурский поэт, прозванный Шемшером (Мечом), – к семи; Еркинбеку за то, что учился в Советском Союзе, преподавателю медицинского института Оринтаю, Алимхану, Кобену, Хакену и другим дали по девятнадцать.

Вместе со мной сидел студент Алпысбек, ему было всего девятнадцать. На свободе он исполнял обязанности секретаря союза молодежи и посмел обличить гнусные проделки маоистов, их попытки оболгать Советский Союз. От нас его увели ночью. Назавтра я понял: застрелили. Когда уводили, Алпысбек обнял меня: «Придут счастливые,

вольные, свободные дни, дни нашей мечты! Вспомните тогда добрым словом обо мне, Ибрагим-ака...». Алпысбека вырвали из моих объятий и выволокли наружу...

Мы остались в камере вдвоем с Момунджаном. Момунджан отстучал через стену на весь зиндан весть об убийстве Алпысбека. Заключенные отказались в тот день от еды, держали голодовку...

На свободе Момунджан был секретарем партийной ячейки урумчинского строительного объединения.

Его объявили контрреволюционером за то, что группа молодых патриотов под руководством Момунджана составила письмо, где в семи пунктах изложила недовольство национальным угнетением, которое осуществляли китайцы. В письме рассказывалось о национальных руководителях, интеллигентах, студентах, которые были уничтожены или арестованы. Письмо не успели распространить – Момунджана арестовали. «Мы – дураки! Пройдохи притворились марксистами, а мы поверили! – сетовал он. – Национальные предатели изведут нас!..»

Сколько пытали Момунджана! Но могучий джигит не покорился маоистам.

Навсегда запомню я товарищей по зиндану.

Многие из них остались для меня высшим примером борцов за человеческие права.

ЛАГЕРЬ ШОБАХУ

«Где?» – спросит отец. «Где?» – спросит мать.

– В зиндане, скажи.

Из глаза слеза, из другого кровь

– Рыдает, скажи...

В самом деле, кровавые слезы мучеников затопили нашу землю. Прекрасная страна уйгуров превратилась в тюрьму, в океан страданий...

Широко раскинулся Шобаху, вместив шесть тысяч заключенных. Он расположен в Саньджи-Дунганской автономной области, окружен прочными стенами и напоминает крепость: на всех четырех углах возвышаются форты с пулеметными гнездами. Внутри крепости-темницы камеры для наказаний, тюремные застенки с цементными полами.

Лагерь Шобаху одного возраста с маоистской властью. Его первыми жителями стали те, кого именовали «панкюркистами», «контрреволюционерами», «панисламистами», «угнетателями-помещиками», а также кочевавшие в Алтайских и Джунгарских горах казахи, чудом избежавшие расстрелов.

В последующие времена в лагере обитали жертвы бесчисленных политических кампаний.

Лагерный режим был организован по-военному. Каждое утро ходили строем на работу, при этом громко пели на мелодии популярных песен стихи, прославляющие Мао-чжуси, – «вооружались революционным духом». Выйдешь из строя на три шага – пристреливают на месте. Стоит голодному узнику поднести ко рту сорванный пшеничный колосок – он тут же падает, сраженный пулей охранника. Кто закован в кандалы – не смеет отстать от колонны: запутаешься и отстанешь – убьют. В лагере трудно уцелеть даже одному из ста – почти все гибнут от наказаний, мук, переутомления, голода. Места умерших, или, выражаясь по-маоистски, «выведенных в расход», занимают новички, поток которых нескончаем...

Меня с сотней других заключенных перегнали из лагеря Шигоби в июне 1964 года. После кошмарного зиндана, где меня приговорили к четырем годам и где я отсидел

половину срока, осталось два года. Я шел в лагерь с твердым намерением выдержать все муки, которые снова выпадут мне на долю, с острым желанием выжить.

Однажды гнали мимо нас группу женщин. Мы в это время работали на косовице, изнывая от жары и жажды. Возлюбленные сестры наши пожелтели, как травинки осенью, увяли – у многих из нас от их жалкого вида полились слезы из глаз. Мы забыли о собственных невзгодах, которые давили на каждого тяжелее горы Богдо, глядя на поруганных, измученных, опустошенных дочерей родного народа.

В толпе женщин я заметил вдруг Гульбахар. Ее имя означает «Цветущая весна», когда-то оно вполне подходило девушке. Я как стоял с серпом в руке, так и опустился на стерню...

ИСТОРИЯ ГУЛЬБАХАР

Это произошло за день до ареста. В урумчинской столовой, что возле Сидация – Западного большого моста, я заказал порцию мяса с овощами и четыре паровые булочки-момы: у меня еще были продовольственные талоны. Вдруг появились несколько девушек лет шестнадцати – двадцати, они огляделись по сторонам, увидели передо мной момы, подошли ближе и, облизывая губы, уставились на хлеб. Я знал, что многие девушки по разным причинам, чаще всего из-за произвола угнетателей, лишились семей, родителей, скитаются без крова, без продовольственных карточек, торгуют собой. Знал, что некоторые, чтоб не погибнуть от голода, сошлись с влиятельными китайцами. Я вообразил унижения, которые испытывают эти юные существа, вынужденные отдавать на поругание свою девичью честь. Вскочил из-за стола и поспешно направился к выходу. Одна из девушек преградила мне путь и спросила, усмехаясь:

– Куда же вы заторопились, братец? Оставляете такую вкусную, такую редкостную еду...

– Срочное дело...

– Нет, братец, вы бежите от нас! А почему? Мерзкие твари, да?

В больших черных глазах девушки таились боль и укор. Я опустил голову.

– Живете вроде бы неплохо, братец. И момы и закусочку перед собой поставили, – насмешливо продолжала девушка. – Потому-то и бежите от нас, голодных и раздетых?!

– Вас увидел – совесть не позволила...

– И я была когда-то хозяйкой своей совести... – Голос девушки дрогнул. – И у меня была честь. А теперь, теперь я бессовестная, развращенная тварь... Ненавижу себя и всех!

– Пусть вы оступились, но можно же вновь вернуться на путь добра.

– «Путь добра», говоришь?! Где он, этот твой путь? Все вы обманщики, коварные, продажные...

– Продажные... – повторил я. Бедняжка, видно, сильно озлоблена жизнью. – Не расскажете ли вы мне, что случилось?

– Было б терпение слушать! – мрачно отозвалась девушка.

– В таком случае поешьте. Я подожду снаружи.

Она двинулась следом, обогнала меня:

– Идите за мной!

Перешла через мост Сидация, повернула влево, остановилась, оглянулась по сторонам и пошла еще быстрее.

Мы приблизились к Ипаочэнгуну – страшному месту в северной части города. Ипаочэнгун в переводе с китайского означает «Один выстрел – и делу конец»; здесь публично расстреливали людей. Я слегка забеспокоился, но не повернул обратно. Мы

миновали китайское кладбище, спустились с горки в ложбину, и девушка, наконец, остановилась.

– Праздничное гулянье в честь святого Аппака-ходжи, а! – Гульбахар громко расхохоталась, окрестности отозвались эхом.

Удивляясь виденному и слышанному, я спросил:

– Здесь будем беседовать?

Гульбахар не ответила, ухватила покрепче мою левую руку и потянула за собой, глядя только вперед. Мы очутились в каком-то загоне, огороженном полуразвалившимися глинобитными стенами.

– Вот, – обвела рукой Гульбахар, – наша гостиная, здесь мы принимаем дорогих гостей вроде вас. Сколько таких гостиных на всех окраинах города! Добро пожаловать в передний угол, устраивайтесь, пожалуйста, на одеялах и подушках.

– Спасибо... – Я огляделся. Ее саркастический тон и необычность поступков подавляли меня.

– Проходите, не стесняйтесь! – Гульбахар указала место возле себя, на кучке кунжутных листьев.

– И поговорить можно, и никто не помешает. – Девушка достала из-под листьев склянку с чжуном – китайским кукурузным самогоном, отпила несколько глотков, протянула склянку мне.

Побоявшись едких насмешек, я пересилил себя и отхлебнул, но тут же поперхнулся. Девушка даже не улыбнулась. Она выхватила пузырек, закрыла горлышко, сунула его под листья и игриво глянула на меня:

– С чего же начнем? С наслаждений или страданий?

– Мы оба страдаем, сестренка. Расскажи о своих горестях, – произнес я, особенно нажимая на слово «сестренка».

– Хм... – Она не сказала того, что хотела сказать, лишь глубоко вздохнула. Потом подняла голову и медленно, задумчиво начала рассказывать:

– Я дочь плотника Абдукадыра из Яркенда. Самая старшая. В семье нас было шестеро: кроме меня и родителей, две сестренки да брат. В 1958 году началась гуншэ – коммунизация. Я училась в четвертом классе, мне было тринадцать лет. Однажды на нас словно земля опрокинулась – наш трехкомнатный домик решили отдать китайским чжангуйдам. Отец схватил топор и встал в дверях: «Кто переступит порог – голову раскрою!» Через три дня нас под конвоем переселили в деревню. Отца в качестве «злого элемента» увезли куда-то. Заработка матери на жизнь не хватало. Я, хоть и маленькая, вынуждена была трудиться. Работы я не боялась, но не могла переносить хамство и унижения. А постоять за себя – как это сделаешь? «Неужели всю жизнь страдать от оскорблений?» – все чаще думала я. В конце концов, я убежала обратно в Яркенд из коммуны страданий. Но и в Яркенде не глядят по голове. С месяц я мыла посуду в тамошних столовых. Справедливость – в столице, стала думать я, у главных начальников, здешние мелкие чиновники отошли от заветов председателя Мао. Мне казалось, что нужно только попасть в Урумчи, и я стану учиться и жить в хорошем доме. Так я отправилась в путешествие за правдой.

В нашей семье из поколения в поколение передавали как талисман золотые серьги. Мама зашила мне их в ладанку и повесила на шею, считалось, что лишиться сережек – все равно, что потерять душу. Настал день, когда я отдала золотые серьги шоферу-китайцу и взобралась в кузов грузовика поверх наваленных там мешков. Машина выехала из Яркенда, повернула на Урумчи. В душе будто оборвалась какая-то ниточка, связывавшая меня с родными местами. Я упала ничком, заплакала. Не раз порывалась я

остановить машину и бежать обратно, но в памяти возникали пережитые в коммуне обиды, и я подавляла свой порыв.

После полуночи шофер съехал с шоссе, остановился у воды:

– Заночуем здесь!

Было лето. От воды веяло прохладой, вдоль берегов арыка темнела зеленая трава.

Я обрадовалась, прыгнула с машины, кинулась бегом к воде. Промыла глаза, ополоснула лицо и вволю – пригоршнями-пригоршнями – пила холодную воду. Шофер и его помощник разостлали на полянке одеяла, позвали меня лечь рядом с ними. Я почувствовала, что они затевают недоброе. Отошла подальше, села у воды, обняла руками колени. Зачем, горевала я, выпало мне на долю оставить самое дорогое в мире – маму, родных, отчий кров?.. Я даже и подумать не могла о том, чтобы заснуть – вот-вот вцепятся в меня злодеи. Ни убежать, ни спрятаться.

Через какое-то время оба китайца подошли ко мне и стали уж впрямую принуждать лечь с ними. Я сопротивлялась, плакала. Мои крики далеко разносились в тихой ночи, но не оказалось рядом ни одного человека, который протянул бы мне руку помощи. Как волки на козленка набросились они на меня и обесчестили...

Поруганная Гульбахар представилась мне олицетворением беспримерных страданий уйгурского народа, и я горестно простонал:

– Проклятые!

– Я рыдала, кляла судьбу, – рассказывала девушка, – но кого мог тронуть мой плач? Разве есть в этом мире люди, способные посочувствовать, прислушаться к чужим слезам и стонам? Шоферы скрутили меня по рукам и ногам, спрятали в кузове среди мешков. Днем мы ехали, но по ночам они развязывали меня, насильно кормили, а потом... Нарочно они опоздали или нет, не знаю, но в Урумчи мы приехали только на шестой день.

На окраине города меня высадили. Вот когда поняла я, куда привели меня поиски счастья. «Диких курочек» в Урумчи немало, я присоединилась к ним. О чем осталось мне жалеть? Девичья честь – самое сокровенное – утрачена. Достоинство и совесть замараны. Кому я нужна? Неужели господь навеки предназначил мне быть развратной, продаваться, утолять ради куска хлеба чью-то низменную страсть? Разве для того, чтоб я стала грязной блудницей, вскормила меня мать чистым своим молоком? Для того ли родители бодрствовали ночами у моей колыбели? Для того ли выходили меня? Тысячи, десятки тысяч проклятий такой жизни! Сыта по горло и собой и всеми вами, глаза б мои ни на кого не смотрели...

Сердце Гульбахар переполняли нестерпимые муки, но она не пролила ни слезинки. Я был поражен. Может, притупился ее рассудок? Или так зачерствела душа? Нет, просто у бедной девушки не осталось слез, остались лишь гнев и боль, чреватые бунтом. Я видел ее: ее ненависть к насилию, к существующему режиму безгранична.

– Когда вы приехали в Урумчи? – спросил я.

– Какой смысл считать дни? В этом мире обиды одинаковые зимой и осенью, весной и летом! – Дрожащими пальцами Гульбахар скрутила самокрутку из табачной крошки.

Она курила жадно, часто затягивалась, глотала едкий дым, пока не выступили из глаз горькие слезы, не посинело лицо. Сплюнула на землю. «О безжалостный рок... До чего довел ты девушку, почти ребенка, чистого, не ведавшего грязи».

– Где вы спите? – спросил я.

Гульбахар усмехнулась:

– У кого нет семьи и кровя, постель – яма в овраге, заросли кустарников, старые стены, солома и мякина в поле... Там мы гуляем, там совершаем свои коммерческие

сделки, пока не попадаем в лапы сыщиков. Наши клиенты – китайцы. У них много денег и продовольственных талонов, из их рук мы кормимся.

– Можно бы вернуться в родные края...

– Что? – Гульбахар вздрогнула, будто от удара. – Родимый порог достался мне от предков чистым. Я не посмею его переступить. Теперь мой кров – оскверненные, грязные места вроде этого. Тут и моя могила. Пусть мои беды уйдут со мной. Пусть моя грязь не коснется потомков...

Вот какую печальную историю рассказала мне девушка по имени Гульбахар, оставив в душе незаживающую рану...

УЧИТЕЛЬ – КАРМАННЫЙ ВОР

*Кров мы нашли в горах,
Места нам нет в городах.
Все мы готовы снести, но не сдадимся врагам...*

Эту грустную песню знал чуть не каждый уйгур. Когда же наконец прекратился скорбный плач моих соплеменников, не сумевших стать хозяевами своей родины, принужденных скрываться в горах, степях и в пустынях, в чужих странах?..

Был среди нас джигит по имени Надир. Он бежал когда-то из исправительного лагеря и попался вновь. Этот двадцатипятилетний острослов всегда весел, его круглое румяное лицо освещено улыбкой. С ним никогда не затоскуешь. Нет таких песен, которых не знал бы Надир. Он первый пропел ночью песню «Кров мы нашли в горах», и все заключенные страшного лагерного ада с удовольствием подпевали ему. Ноги Надира были закованы в тяжелые кандалы, но он ходил всюду наравне с нами и работал. Да еще старался рассмешить нас, чтобы не выказать своих мучений.

– Придумаю танец в кандалах, – Надир взмахнул кетменем и громыхнул оковами. – Видите, на ногах бубенчики, я сейчас протанцую грациознее и красивее, чем индийская девушка! – И он легко, будто выделывая па, поднимал то правую, то левую ногу.

Однажды мне и Надиру поручили поднимать воду из колодца – поливать огород. Таких колодцев было много, возле каждого работало по два человека. В безводной степи не так-то просто полить огород колодезной водой. Плюс к этому еще надо выполнить обычную трудовую норму. Но попробуй отказаться... Волосы встают дыбом при одной только мысли о грядущем наказании. И все-таки я был доволен: стану трудиться вместе с Надиром. Пусть даже из-за того, что он закован, основная тяжесть работы придется на мою долю. Зато я буду слушать его шутки, его берущие за сердце печальные песни, с ними и день пройдет незаметно, быстрее наступит ночь и усталость почувствуешь меньше.

– Давай так: я достаю воду, а ты сливаешь в желоб, – предложил я.

Надир рассмеялся:

– Тебе работу потруднее, а мне полегче? Нет, братец! – Он под тянул браслеты на ногах повыше щиколоток, примотал цепь полой длинной рубахи к левому бедру, быстро вскочил на колодезный сруб. – Видишь: я могу вспрыгнуть и на крепостную стену! Как говорится, бестолковый берет силой, толковый – умом...

Да, работать вместе с Надиром было хорошо.

По маоистскому принципу «экономии времени» мы обедали на рабочих местах. Маоисты вроде бы для того, чтоб «избавить» узников от ходьбы в столовую и «сберечь» их время, приносили обед в поле. На еду и отдых после нее полагалось тридцать минут.

– Давай и мы, Ибрайим, сэкономим время по указанию «самого, самого великого вождя», – предложил Надир, моя руки.

– А на что годятся эти жалкие тридцать минут?

– Две минуты пусть уйдет на то, чтоб проглотить парочку похожих на гусиные яйца гаоляновых мом. На чашку кипятка понадобится тоже не больше двух минут. А остальное время ты проспшишь под сенью кетменя. Найдется ли тогда человек счастливее тебя? А? – Надир мигом съел свой обед, поставил торчком кетмень, приладил к нему снопик травы, – получилось что-то вроде маленького навеса.

– Лишь бы сюда солнце не попало. – Он растянулся на земле. Я примостился рядом.

– А что, если пять минуток драгоценного времени потратим на «баю-бай»?

– Какое «баю-бай»? – удивился я.

– Песенка. Давай споем разочек, пока сон не нагрязнул.

– Желаю тебе достигнуть всякого совершенства, братец, а сердца моего ты уже достиг!

*– Плодородна наша земля,
Ее золотые поля.
Лишь в эпоху Мао Цзэдуна
Не родит она ни стебля.*

*Сады наши черви жрут,
Поля под дождем гниют.
Но укрой от китайцев хоть что-то –
С живого кожу сдерут...*

Печальная песня Надира волновала сердце, пробуждала желание сражаться, ненависть к врагам. Я задумался о пережитом...

– Заснул, что ли?

– Нет, не спал – думал.

– Ох, коварные эти думы! – воскликнул Надир, поднял голову и огляделся по сторонам. – Скажи-ка, родной, о чем ты думал? – Он снова положил голову на пучок травы.

– О тебе, братец, о тебе...

– Обо мне?! – Надир повернулся ко мне, посмотрел в глаза.

– Да, о тебе. Ведь не понапрасну унижают таких, как ты, мастеров-искусников...

– Не одного же меня... – прервал Надир. – А у тебя, верно, язык не повернулся сказать – мастеров-карманников, да?

– Почему?! – вздрогнул я. – Оставь шуточки, братец! Какой же ты карманник?.. – Я свернул самокрутку.

– Не веришь – слушай! – Надир затянулся моей папироской и начал:

– Три года назад я закончил с отличием Национальный университет. Меня направили учителем истории в среднюю школу города Курля. Историей я увлекался еще с детских лет. Сам знаешь, наша история, история уйгуров, почти не исследована. Я сетовал, что нет обстоятельной книги о прошлом народа. Потому и решил основательно изучить свой предмет. Разыскал массу сведений по истории уйгуров, напряженно изучал китайский язык и письменность, чтобы пользоваться китайскими источниками. Таким образом, я вел уроки и занимался одновременно научными исследованиями.

Однажды Чжан Ху, директор школы (школа была уйгурской, но директором назначили китайца), вызвал меня в кабинет:

– Чем ты занимаешься? – угрожающе спросил он.

Я уставился на его злобную физиономию.

– Тебе что, язык отрезали? Почему не отвечаешь?

– Чем я занимаюсь в школе, вам хорошо...

– Не трещи! – перебил директор. – Ты злостный элемент, ты извращаешь историю, скрыто выступаешь против учения Мао Цзэдуна!

– Я стараюсь выявить историческую справедливость...

– Историческая справедливость! – холодно рассмеялся Чжан Ху. – наших главнокомандующих Чжао Хуэя и Цзо Цзунтана ты назвал захватчиками!

– А разве это не правда? – вырвалось у меня.

– Гуньдань! Вон отсюда! – заорал Чжан Ху.

Я, будто получив оплеуху, выскочил наружу. Чжан Ху послал мне вдогонку град отборных ругательств.

– Что с вами, учитель? У вас болит что-нибудь? – спросили ученики, когда я вошел в класс.

– Ничего, ничего, садитесь по местам! – усилием воли я пытался подавить нервное возбуждение.

– Учитель, когда пойдем осматривать сторожевую башню лагеря Якуббека на берегу Баграша? – спросил классный староста.

Я не ответил. Помолчал, приходя в себя, и лишь потом обратился к классу:

– Кто может кратко охарактеризовать деятельность Цзо Цзунтана и Чжао Хуэя?

Ученики переглянулись: вопрос не имел отношения к сегодняшнему уроку.

– Разрешите, я скажу, – подняла руку Камбарниса.

– Пожалуйста.

– Китайский генерал Чжао Хуэй вторгся в пределы самостоятельного уйгурского государства и опустошил страну в восемнадцатом веке, а генерал-убийца Цзо Цзунтан отличился в девятнадцатом веке, разгромил государство Якуббека и казнил сотни тысяч людей...

– Этот же палач Чжао Хуэй взял в плен нашу героиню Ипархан и преподнес ее в подарок императору Цяньлуну! – добавил другой ученик.

Я был доволен, что ребята хорошо усвоили материал. В наше время многие пытаются исказить отечественную историю, доказать, что никогда не существовало самостоятельного уйгурского государства...

– Мы найдем убедительный ответ лжецам и клеветникам!

Следовало, наверное, удовлетвориться тем, что занятия не прошли в пустую, и прекратить урок. Однако в душе моей кипело возмущение от хамства Чжан Ху, и я начал рассказывать, как китайские колонизаторы еще со времен династий Хань, Тан и Сунн стремились захватить страну уйгуров. В тот день ребята не рвались из класса на перемену, а я спешил передать им как можно больше из того, что знал сам: рассказал об истории независимых уйгурских государств, начиная с пятого века до нашей эры, от Бука-хана – до середины девятнадцатого века, до правления Якуббека... Я замолчал тогда только, когда в класс вошел завуч и объявил, что время занятий кончилось.

Назавтра с утра меня вызвал директор:

– Ты уволен из школы!

Я не поверил своим ушам:

– Что вы сказали?

Он глумливо рассмеялся – меня и сейчас еще охватывает озноб, едва вспомню его омерзительную физиономию.

– Уволен! – насмешливо прокричал этот китайский наглец, ставший в уйгурской школе и ханом и беком.

Отлучение от школы, от любимых занятий показалось мне страшнее смерти. Я будто рассудок потерял. Не помню, как вышел из школы, как добрался до дому. «В чем моя вина? – снова и снова спрашивал я себя. – Если уйгурским ребятам нельзя знать прошлое уйгуров, зачем же тогда включили в программу уроки истории? Нет! Нет! Здесь недоразумение... Чжан Ху возненавидел меня. Позавидовал, что учащиеся уважают меня больше, чем его. Пойду в отдел народного образования, расскажу обо всем...» – И я отправился к начальнику Курлинского окружного отдела народного образования.

– Директор школы Чжан Ху – представитель партии. Он вправе освободить тебя от преподавания. А ты отправляйся в коммуны, трудись, учись у крестьян, вооружайся идеями председателя Мао и в корне, в самой основе переделай себя! – ответил мне этот начальник.

– По какой же все-таки причине меня увольняют? Ведь я не допустил ошибок в работе?

– Вот, вот! – Начальник моментально вскочил. – Сам твой вопрос – уже большая ошибка! Все, что начальство считает нужным, полагается выполнять без всяких отговорок!

Меня выставили из отдела народного образования. Но где-то же должна быть правда, думал я. Сказать честно, в те дни я верил в Мао Цзэдуна. Неопытные юнцы вроде меня всегда клюют на звонкие лозунги и громкие обещания, не догадываясь, что это дьявольское коварство и обман.

«Вера» толкнула меня на поиски правды в Урумчи. Я побывал у заместителя начальника департаментов по кадрам Синьцзян-Уйгурского автономного района. Он величественно восседал за столом, попыхивая сигаретой, и даже не дослушал моего вопля о помощи:

– Убирайся, откуда приехал!

– Выходит, все вы одинаковы?!

– Ах, вот как. – Его превосходительство посмотрел на меня уже с интересом. – Тебе нужна правда, мы тебе ее покажем. – Он быстро вышел в соседнюю комнату и тут же вернулся в сопровождении двух полицейских:

– Вставай, пошли!

– Куда? – удивился я.

– Узнаешь. Вставай!

Через два дня без суда и следствия меня приговорили к трем годам «преобразования трудом» и направили в исправительный лагерь. Вот когда я, дурак, понял, что верить слову китайского чиновника, ждать от него дружбы и благосклонности – все равно, что самого себя предать смерти.

«Что же делать? – неотступно размышлял я. – Стоять на коленях, склонять голову, когда наказывают, усмиряют, унижают? Даже овца дергается, если ей в глотку вонзают нож!...»

Я немного смыслю, как ты понимаешь в истории и знаю, что мир за последние тридцать лет изменился. Десятки отсталых колониальных стран, особенно в Африке, подняли на родной земле знамя независимости. А у нас не получилось ничего... Как подумаю об этом – слезы подступают к горлу. Как же найти способ избавления? Я размышляю об этом и сетую, что нет у меня ни опыта борьбы, ни друга-наставника... Вспомнив, как боролись с китайскими завоевателями отважные герои нашей истории, я решил идти по их стопам. Поделился планами с тремя товарищами по лагерю, мы

сговорились... Поклялись вчетвером выбраться из лагеря и выступить против маоистской неволи.

Мы ушли под покровом ночи, когда нас выгнали поливать посевы. Ушли по одному, условившись встретиться в зарослях на берегу реки Саньчжи. Два дня прождал я своих товарищей. Убегая, я слышал, как среди охраны поднялся шум, и прогремело несколько выстрелов. Наверное, мои друзья попались. Я понял, что они не придут, жди их хоть месяц, хоть два... Никогда не придут. А у меня – ни денег в карманах, ни продуктов... И самого главного – хучжао, охранной грамоты, тоже нет.

Моими товарищами были рабочий, крестьянин и хлебопек-лепешечник. Последний и обещал с помощью собратьев по профессии укрыть нас на первое время в Урумчи. Этой возможности не стало.

Добираясь до города, я ел барбарис и корни трав. Дважды посчастливилось мне забраться в коровье стадо и попить молока. Урумчи я все-таки достиг, но где приткнешься там? Беглец не может постучаться в любую дверь. Моим кровом стали мосты, заброшенные хибарки, иногда мечети, а то и печи, оставшиеся со времен «выплавки стали». Кормился по окраинам города – на огородах коммун.

Как-то ночью я улегся спать на полу в мечети, стоящей на берегу высохшего русла. Вдруг мимо окна мелькнул какой-то человек и ловко вскочил внутрь – точь-в-точь кошка. Он приблизился и заметил меня. Попятился:

– Кто ты? Если «свой подданный», подходи!

Я подошел.

– Среди наших тебя не встречал. Как ты сюда попал? – Он зажег спичку и поднес к моему лицу.

– А кто такие «свои подданные»?

– Раз не знаешь этих слов, чего здесь ошиваешься?

Я рассказал о себе, ничего не скрывая. Парень сочувственно вздохнул, положил правую руку мне на плечо и с братским участием произнес:

– Ты учитель, а я служитель справедливости. Разница только в этом. В остальном различия нет. Мы называем друг друга «своими подданными». А маоисты именуют нас «общественными отбросами».

– Как твое имя?

– Кавул! – В руке у него был узелок, он развязал его. – Голоден, наверное. Ешь, не стесняйся!

Через три дня Кавул повел меня далеко за город – на встречу с ворами-карманниками. Мы спустились в глубокое ущелье, перебрались через быструю речушку. Здесь Кавул внимательно осмотрелся, проблеял по-козлиному. Ему ответили.

– Пойдем, братец! «Подданные», похоже, собрались. – Он взял меня за руку и потащил за собой.

Я дивился проворству рослого Кавула. Найти здесь дорогу было бы трудно даже днем, а Кавул уверенно шагал в темноте по заросшей тропинке – он знал ее, как свои пять пальцев! Выходя из кустов барбариса, мы услышали звуки печальной песни. Я замер на месте.

*На дутаре играю я, братья,
Слезы туманят глаза.
Я странник в родном краю,
И некому слова сказать.*

Заключительные две строки пропели несколько голосов. Первоначальная нежность мелодии нарушилась, но все равно воздух будто звенел от грустного напева.

– Это поет Шарихан, – с гордостью произнес Кавул.

Мы взобрались на вершину, к костру, вокруг которого сидели люди. Песня прекратилась. Какой-то невысокий человек вскочил, подошел к Кавулу, спросил с тревогой:

– Сеита не видел?

– Откуда? Ведь ты ушел с ним. – Кавул прищурился: – Ты не бросил Сеита одного?

А?

– Бросил? Рот сполосни после таких слов! Когда я товарища бросал?.. – Невысокий обозлился. Он потянулся схватить Кавула за ворот, однако Кавул приподнял его, словно малого ребенка, отнес к костру и посадил на прежнее место.

– Успокойся, коротышка. Но если Сеит попался, ты у меня узнаешь!

– Не волнуйся, Сарваз¹⁰, – заговорил парень с бритым подбородком, он помешивал в ведре что-то вроде похлебки. – Сеит не зря выбрал себе имя Лачин – Сокол. Его так просто в сеть не поймать!

– Садись, Сарваз. – Воры потеснились.

– Пригласите и гостя, – девушка с пятиструнным равапом в руках показала мне место возле себя, – пожалуйста!

– Мы, – объяснил мне Кавул, – любим и уважаем друг друга. Договорились быть вместе и оберегать своих...

– Сладко говоришь, Сарваз. Пропеть, что ли, твои слова? – Шарихан прикоснулась к струнам.

Нежный голос девушки, сопровождаемый звуками равапа, прозвенел в ночной тишине и улетел в звездную высь. Сколько было в нем чувства, сколько страсти!.. Я забыл о собственных болях, переживал лишь скорбь Шарихан, чистой, милой Шарихан. Я сострадал, я испытывал жалость к талантливой девушке, одаряющей сынов человеческих своим вдохновением. Ее, прекрасную Шарихан, тысячи других молодых женщин и девушек сделали изгнанницами, заставили прятаться, скрываться... Я смертельно виноват перед ними – зовусь мужчиной, а не защитил сестер своих! Мне стало стыдно перед Шарихан, я подумал, что даже не имею права слушать песни прелестной девушки, и потихоньку отодвинулся в тень...

Несколько дней я был тише воды, ниже травы. Что делать? Где укрываться «клейменому» беглецу? Кто примет меня на работу. Кто пригреет, как щенка, за пазухой? В общем, я решил вернуться туда, откуда бежал, – в исправительный лагерь. Кавул, не слушая моих речей, повел меня в Хунсяньцзи – западную часть Урумчи.

– Вот мой зимний дворец. – Мы влезли в вырытую в пещере нору. – Садись, гостем будешь. Сегодня я с выручкой!

Кавул зажег свечу, установил ее на камне. Достал из-за пазухи узелок, разложил на плоской каменной плите, как на столе, цзиня два вареного мяса, штук пять лепешек, склянку с водкой – чжуном и развел руками:

– Как говорят, «миг наслажденья – царство Сулеймана». Долой скорбь хоть на минуту! Ура веселью! Налетай братец!

Разве устоит голодный перед хлебом и мясом? Я затолкал в рот кусок мяса пожирнее и проглотил, не жуя.

– погоди, братец! Хочешь съесть все один – ешь, только не глотай целиком.

– Прости, Кавул-ака, не удержался...

¹⁰ Сарваз – воин.

– Давай-ка вот этого чуточку отведаем. С еще большей охотой есть будешь. – Кавул поставил передо мной налитую до краев пиалу с водкой.

– Я никогда не пил этой штуки...

– А меня ты пьяницей считаешь? – Кавул обиделся. – Пьем не водку, пьем горе, понял? Сказал же я – долой скорбь хоть на минуту! Сегодняшнее – сегодня, понял? А завтра – что судьба пошлет...

Кавул выпил пиалу залпом.

Я последовал его примеру; с трудом, но тоже выпил водку. А вторую и третью пиалу уже просил сам.

Кавул раскраснелся.

– Не буду склонять тебя к воровству. Сам наелся досыта этой пакости. Каждый раз, как тащу у человека деньги, кажется, будто сердце у него вынимаю... – голос Кавула дрожал от волнения.

Я не перебивал. Внутренне я был согласен с Кавулом. «В самом деле, – думал я, – здоровый джигит, может камень в пыль растереть. Зачем ему бегать от физического труда? Будь малейшая, с волосок возможность жить по-другому, будь крохотное убежище, где приклонить голову, разве дошел бы он до такой жизни? За свою «работу» он ненавидит себя сам. Сыны человеческие ненавидят сами себя – есть ли трагедия тяжелее? Кто довел нас до такого положения? Кто главный виновник?..»

– Если найдешь кров над головой и пищу, то к нам и близко не подходи, братец! – воскликнул Кавул, словно прочитав мои мысли.

– Да нет же, я никогда не смогу испытать к вам неприязнь, – поспешно ответил я.

– Хочешь, – предложил после длинной паузы Кавул, – перейдем в какую-нибудь соседнюю страну...

– Нет! Нет! Будь что будет, останусь на родной земле!

– Ну, наломают тебе, братец, бока! – улыбнулся Кавул и пристально посмотрел на меня. – К этому вопросу мы относимся одинаково. Меня звали уйти, я ответил пословицей: «Лучше на родине быть подметкой-ултаном, чем на чужбине султаном». Пусть мы подметки, братец, но стоим на своей земле!

Эта ночь сделала нас близкими друзьями. Я узнал, что Кавул когда-то был начальником юридического отдела в Нилкинском уезде Кульджинского округа, его объявили «националистом» и отправили копать руду в местность Учкаптар. Он не выдержал насилия – сбежал.

– Я говорю, братец, нет человека без горя. Поживем так. Может, что и получится. – Кавул зевнул. – Утро близко, давай спать.

– ...Может, что и получится, – повторил я раздраженно: вот так всегда – ждем, ничего не предпринимаем, никак не проявляем недовольства притеснениями... Однако сам я тоже не мог додуматься, что делать, с чего начинать, и потому задышался от злости.

Кавул разбудил меня, едва начало светать, и требовательно произнес:

– Это слабость – возвращаться в ад, в лагерь. Не надо!

– А что делать, если нигде не пристроюсь? Лучше отбыть срок и выйти!

– Дурак, ты думаешь, маоисты щадят беглецов?

– Значит, лучше стать воришкой вроде тебя! – Я и сам не понял, как вырвались у меня эти слова, и тут же рухнул от тяжелой оплеухи, даже вывалился наружу из норы. Когда я пришел в чувство, Кавул втаскивал меня, как ребенка, обратно и ласково уговаривал:

– Не обижайся, братец Надиржан! Твои слова, родной, ужалили мою измученную совесть!..

Извинения Кавула были для меня потяжелее крепкого удара дубинки, я не сдержался, зарыдал. А Кавул опустил голову так низко, словно давила на нее огромная гора. Потом достал из угла сверток, раскрыл и положил передо мной с десяток высохших лепешек.

– Бери, отправляйся в путь. Живы будем – увидимся. Говорил зайчонок двоюродному братцу: «Свидимся в тороках». Времена такие, что можем встретиться в лагере или в зиндане.

– Нет! – ответил я. – Что бы ни случилось, будем теперь вместе...

И Кавул определил меня к Шарихан – учиться «ремеслу».

– У Надиржана, – сказала карманникам Шарихан, – руки гибкие, легкие. Обучу за пятнадцать дней!

– Один-два дня отведи на уроки «наблюдения», а потом начинайте практику, приказал Кавул-Сарваз.

Во время «уроков наблюдения» Шарихан учила меня опознавать людей, у которых с собой много денег, показывала, как они ведут себя, в какой момент и в каком месте надо действовать и как исчезать.

– Запомните Надиржан, я никогда не запускаю рук в карманы местных. Мои подопечные – важные китайские чжангуйды, эти пивявки, которые присосались к нам, угнетают и обирают... – Шарихан заговорила о своей ненависти к китайским захватчикам, о том, что решила мстить им, во что бы то ни стало.

Дня через три началась «практика». Шарихан провела меня по улицам, а когда вернулись в пещеру, рассмеялась:

– Проверьте-ка карманы.

Я полез рукой в карман: исчезли выданные Кавулом десять юаней.

– Вы и вправду искусница Шарихан.

– О Надиржан, этим гибким искусным пальцам лучше бы рисовать, вышивать цветы или волновать игрой на равапе! – Шарихан печально вздохнула. Во мне все сжалось, и я отвел глаза.

– Иногда, – Шарихан смотрела на свои красиво сплетенные маленькие пальчики, – хочется поотрубить их топориками и выкинуть! Только какая-то тайная надежда удерживает меня!.. – У девушки перехватило, наверное, дыхание, она рывком распахнула вдруг воротник и продолжала, глядя мне в глаза: – Скажите, родной, неужели девушки вроде меня созданы для таких поганых занятий? Кто принуждает нас? Китайские мерзавцы? Или судьба такая? Что же вы молчите?

Что я мог ответить? Я чувствовал себя еще более жалким и беспомощным, чем она. Шарихан вот уже сколько дней обучает и натаскивает меня, пришибленного, потерянного. А я еще ношу имя уйгура! Мне снова стало стыдно перед девушкой, такой прекрасной и увядающей в печали. «Если бы, – подумал я, – мы, современные мужчины, были столь же смелы, как наши деды, то родная земля, жены и матери не страдали бы от проклятых врагов...» Но эти мысли я утаил от Шарихан. Я произнес их про себя.

Через два дня мы вышли на «прогулку».

Темень стояла такая, будто тебе завязали глаза. Было то самое время, когда в окрестностях Урумчи заканчивают работу рудники, шахты, заводы, а рабочие и служащие плотно набивают автобусы. На остановке у моста Сидация, разделяющего старый и новый Урумчи, мы встали в очередь на автобус. Когда машина приблизилась, Шарихан показала мне глазами на китайца с тяжелой папкой в руках. У него было круглое лицо, оно блестело, словно смазанное маслом. Китаец влез в автобус следом за Шарихан и оттер меня от нее. Вонючий пот ударил в нос, сердце испуганно забило: «Попадусь! Надо скорее выбираться из этого мешка». Руки и ноги задрожали. Прося поддержки, я взглянул

на Шарихан, она нахмурила брови, словно говоря: «Не бойся, я здесь», – и положила руку себе на грудь. «Гм, деньги не в папке, а во внутреннем кармане!» – догадался я и приободрился.

Во время «уроков наблюдения» Шарихан наставляла меня: «Самый удобный момент – толчок при остановке автобуса». Я ждал именно этого мгновения. Вот автобус перед остановкой круто затормозил, люди качнулись вперед – мои похожие на пинцет пальцы пришли в действие...

Не помню, как выскочил из автобуса. Остановился только потому, что не знал, в какую сторону бежать.

– Так и бывает в первый раз. Возьмите, оботрите лицо и глаза. – Шарихан сунула мне платок: я взмок, будто в бане. Внимательно осмотрелся – мы стояли на пустынной улице. В пещере за городом я наконец-то облегченно вздохнул... Подсчитали «улов»: тринадцать бумажек по десять юаней каждая и – залог жизни в те дни – продовольственные талоны на сто с лишним цзиней!

– Вот, – Ибрагим внезапно повернулся ко мне, – превратности жизни сделали вором ученого-историка, человека чистой совести. Эх, да о ком ни скажи...

– Маоизм и маоистские головорезы стремятся превратить людей в бесчувственных тварей. Вот почему они, прежде всего, стараются растоптать в грязи их человеческое достоинство, добрые нравы, совесть. Гульбахар, Надир, Кавул, Шарихан, тысячи молодых людей – жертвы подлых посягательств. Политика такого рода – своеобразная особенность именно китайских чиновников!

Я попросил собеседника поведать мне о дальнейшей жизни Надира.

Надир вскоре попал в «ловушку». Вот что он рассказал об этом:

– Воровать мне пришлось недолго, однако карманы успели раздуться от денег.

Внезапно поймали Кавула и с ним еще двух карманников. Они бесследно исчезли.

В Урумчи началось «движение по выявлению отбросов общества»: бродяг вроде меня, приехавших в поисках работы, и «вычищенных» из учреждений и с предприятий «подозрительных элементов».

Нас хватили, как бешеных собак, прямо на улицах, «загружали» в крытые машины и увозили в пустыню Такламакан, в трудовые лагеря. Становилось все опаснее. Ряды карманников редели день ото дня.

– Что делать, Шарихан? Сохнуть в Такламакане? Или поищем другое занятие? – спросил я, когда мы оказались с ней наедине.

Сказать правду, я так сжился с Шарихан, что заботился о девушке-музыкантше больше, чем о самом себе.

– Избавь, господи, от пустыни, лучше повеситься...

– Не говорите так, Шарихан. Будем сопротивляться до последней возможности.

– Нас теперь только четверо. В Урумчи оставаться нельзя, пора менять место, – решила Шарихан. Судя по выражению ее лица – бесповоротно.

– Куда же нам податься?

– В Кумул! – без раздумий ответила Шарихан.

– В Кумул, говорите...

– Да! Сообщают, что из зинданов и лагерей бежали группы молодежи. Они укрылись в Кумульских горах. Вот бы присоединиться к ним! О чем еще мечтать...

Слова Шарихан зажгли в моем сердце луч надежды. Искры противодействия тирании маоистов вспыхивали яркими блесками то тут, то там, но неорганизованно и без большого размаха. Озлобление против китайских колонизаторов, против режима

жестокого принуждения было велико, но никто не знал, как сбросить севших нам на шею властителей, как объединиться для совместных действий. Эх, если б появился энергичный руководитель! Он собрал бы нас и повел за собой... По ограниченности ума, что ли, каждый заботился только о собственной жизни, о крыше над головой, о пище для желудка... А может, жестокий режим и беспощадные гонения вытравили из сердец уйгуров национальную гордость? Я думал-думал и не мог взять в толк: как же так, ведь понимаем, что в конечном счете обречены на вымирание и гибель, так почему не объединяемся, не восстаем против мучительного гнета, почему влачим безмолвно свои дни, словно примирились с судьбой? Вот отчего, наверное, слова Шарихан прозвучали для меня, точно зов судьбы.

– Говорите, в Кумульских горах молодежь укрылась? А от кого слышали? – начал я допытываться.

– От Кавула, перед тем как он попался. – Сердце не могло не поверить...

– Так это старый слух!..

– Потерпите чуть-чуть, не перебивайте, – обиделась Шарихан. – Вчера я услышала то же самое от тетушки Айсихан.

Тетушка Айсихан – близкая знакомая Шарихан, они ничего не скрывают друг от друга. У тетушки Айсихан домик из двух малюсеньких комнаток на улице Хотангей. Мы между собой называем его «отелем»: незаметный чужим глазам домик на день-другой служит приютом скрывающимся беглецам. Старушка узнает от «постояльцев» много новостей. Поэтому я поверил Шарихан.

– Раз сказала тетушка Айсихан, значит, правда. Надо выезжать без промедления, – загорелся я. – Хоть день жизни отдадим доброму делу, дорогая сестренка!

– Зордуна и Авута тоже надо уговорить ехать.

– Конечно, чем больше нас, тем лучше.

Следующую ночь Шарихан, Зордун, Авут и я – уцелевшие «товарищи по профессии» – собрались в укромном местечке на мусульманском кладбище. Мы уселись вокруг мерцавшей в полумраке свечи под сводом старого, полуразрушенного мавзолея – он даже днем внушал страх – и поклялись влиться в ряды тех, кто восстал в Кумульских горах против гнета завоевателей. И сейчас вспоминаю с изумлением о том дне: ведь прежде я был безразличен ко всему. «Самое худшее – убьют или посадят», – думал я. А тут чувствую: есть во мне душа, жизнь моя нужна не только мне, но и другим, и надо спешить-торопиться в Кумул. Три мои товарища тоже были окрылены надеждой.

– Надо, – взмахнул рукой Зордун, – отправляться в путь сразу! Чего бояться?

– Проверки очень строги, как ехать без пропуска? – проговорил старший среди нас, Авут-уста.

Шарихан уверенно ответила:

– Деньги будут – будут и пропуска.

– В самом деле?

– Разве я когда-нибудь болтала попусту?

– Но ведь, если нет надежных знакомых, достать пропуска очень трудно, – произнес я в сомнении.

– Чиновники – хоть гоминьдановцы, хоть гунсаньдановцы – какая между ними разница? – махнула рукой Шарихан. – Не отстанут друг от друга ни в жестокости, ни в продажности.

– Маоисты-гунсаньдановцы готовы даже покойника раздеть, они превзошли своих гоминьдановских коллег! – поддержал Шарихан Зордун.

И мы пустились в рассуждения по поводу алчности китайских чиновников.

– Довольно, переживаний не убудет, если даже год плакаться, – остановил я друзей и обратился к Шарихан: – Значит, достанете пропуск?

– Давайте по пятьдесят юаней, – уверенно сказала она.

– Вот, пресветлая наша сестренка! – Авут отсчитал деньги. Остальные последовали его примеру.

Мы собирались, словно в большое, счастливое путешествие, готовились к дороге весело и радостно. На всякий случай решили ехать по двое: я с Шарихан, Зордун с Авутом...

Дождь начал накрапывать с вечера, а к утру перешел в мелкий снег. Мы с Шарихан шли по грязной, разбухшей за ночь дороге. Излишние предосторожности часто приносят вред. Мы не сели на поезд в Урумчи, решили «замести следы» – пройти пешком восемнадцать километров до станции Сайипо. Всегда безветренная, тихая дорога сегодня секла нам лица холодным ветром, смешанным со снегом и каменной крошкой. Была бы нас одежда по лучше... Прохуdivшиеся, залатанные наспех чапаны пропускали холод, тело мое ооченело. Да еще идти пришлось против ветра, даже глаз не откочешь...

Шарихан беспокоилась о сундучке со сломанной крышкой. Мы часто останавливались, обматывали его старыми тряпками, но тряпки быстро мокли под снегом. Отважная девушка несла в крепко прижатом к груди сундучке равап.

Еще издали мы увидели множество людей. Остановились. Люди копошились, как черви, возле станции.

– Кто они? Откуда их столько?

– Черный люд, – ответила Шарихан и хрипло пропела:

Как бедствие, как саранча,

Налетел черный люд.

Что посеяно, что посажено –

Все съел черный люд...

В самом деле, «черный люд», можно сказать, «накрыл» наш край. Переселенцы из внутреннего Китая хлынули в Восточный Туркестан мощным потоком. Местные жители называли их «черным людом». Несчастных, полуголодных и полураздетых, их грузили в поезда и везли в «Синьцзян хао дифан» – «Синьцзян – хороший край». Здесь переселенцев распределяли по домам местных жителей. «Черный люд» съедал все, что видел вокруг. Потом или обосновывался или уходил дальше. Он не оставлял после себя ни побегов карагача, ни корней лебеды, ни птенцов в гнездах.

О преступлениях «черного люда» распространялись всяческие слухи. «В таком месте нашли череп четырехлетнего ребенка», «Там висят на ветле волосы девочки», «Они разрыли свежие могилы и съели трупы»... Ужасающие новости наводили страх на местных жителей. Люди стали тревожиться за детей, не решались оставлять их одних дома даже днем, брали с собой на работу.

До прихода поезда оставалось больше часа. Мы отправились в столовую поесть и отогреться. Вокруг столовой теснились высохшие, ослабевшие ребятишки и взрослые с малышами, посаженными в заспинные котомки. Многие переселенцы едва-едва передвигают ноги, опираясь на палки, и выглядят страшнее вырытых из земли скелетов. Они ищут еду, обшаривают все вокруг, как большие мухи. Перехватывают прохожих, попрошайничают. У кого чуть больше сил, те пробрались в столовую, лезут в опустевшие чашки и тарелки – «подчищают», а то и просто подтягивают чужую тарелку к себе и едят. Эти рабы божьи готовы проглотить тебя живьем, на них смотришь с отвращением и с состраданием...

Мы с Шарихан в ожидании заказанной еды сели в сторонке. За столиком рядом с нами – четыре человека, им только что принесли их порции. Откуда ни возьмись, налетели попрошайки, полезли в полные тарелки, но вовсе не для того, чтоб схватить кусок и убежать, – нет, поблескивая жадными тусклыми глазами, они запустили в еду грязные руки.

– Тьфу, запакостили пищу!.. – Вскочил один. – Невозможно поесть, идемте! Четверо ушли, а возле их тарелок началась потасовка «черного люда».

Из столовой мы вышли в самом скверном настроении. В чем виноват этот «черный люд», потерявший человеческий облик? Кто вверг их в такое унижительное состояние? Кто заставляет голодать плачущих детей? Ведь были у них свои насиженные, теплые места! Или таково предназначение несчастного народа с самого рождения?..

– Бог знает что! Если так пойдет дальше, нас назовут приехавшими! – вскричал я.

– Да, – вздохнула, – мы видели собственными глазами: среди тысяч приехавших китайцев нас, уйгуров, было всего шесть – те четверо, которым не дали поесть, да мы с тобой. Такова политика «поглощения»!

Наши сетования прервал гудок паровоза. Мы влезли в вагон, где уже было полно породистых лошадей и коров. Это был поезд из Урумчи на восток – во внутренний Китай. Подошел и остановился состав с востока – из внутреннего Китая. Из него градом посыпались на землю китайцы.

– Видите Шарихан, сюда везут людей, а отсюда увозят богатства нашего Восточного Туркестана. Есть ли на свете более бесстыдный и откровенный колониализм?!

Паровоз громко заревел, словно грозил: «Весь Восточный Туркестан проглочу-у!»», тяжело дернулся с места, запыхтел, пыхнул дымом, двинулся вперед. Мы с Шарихан, оба в мрачном настроении, затихли. Путешествие не вызывало уже ни волнения, ни интереса, и оттого, что мы продрогли на холодном ветру под дождем и снегом и от пережитых потрясений. Непонятно-тревожные, смутные предчувствия овладели нами, мы ехали будто неживые, лишь покачивались в такт однообразному перестуку колес...

Приблизились к Турфану, а Шарихан все молчит. Что-то случилось с ласковой, бойкой девушкой... Лицо ее всегда было приветливо, улыбалось, а тут за один только день увяло и пожелтело. Шарихан крепко прижимает к груди, будто боится, что ускользнет, вечного своего друга – кашгарский равап и думает, думает, думает – о чем?..

– Вот уже видны деревья возле каризов¹¹ Турфана, взгляните, Шарихан!

– Турфан?! – Девушка вздрогнула, вскочила, глянула в запотевшее на холоде стекло и снова села. Скорбно вздохнула, взяла в руки равап. Мать Шарихан, оказывается, была из Турфана, и вот инструмент зазвучал по-турфански:

*Друг за дружкою вы рядами:
Кариз – дерево, кариз – дерево.
Как тоскую я по другу –
Даль не меряна, даль не меряна...*

Или случай выдался такой. Или Шарихан играла не на равапе, а на струнах сердца, только я забыл обо всем на свете и не заметил, как остановился поезд...

– Что ж вы замолчали, братец Надир? Что дальше было? – спросил я нетерпеливо.

– Язык не поворачивается. Не могу рассказывать дальше, Ибрагим-ака!..

¹¹ Каризы – подземные галереи для сбора воды. Возле их выходов на поверхность обычно сажают деревья.

Мне стало жаль Надиржана. Время перерыва кончилось, пора было приступать к работе. Дня через два, когда мы опять вместе поливали огород, Надир досказал историю своих походов.

– Нас накрыли на станции Турфан. Меня скрутили по рукам, по ногам, бросили в машину, повезли в Урумчи.

– А Шарихан, Шарихан?..

– Когда стражники ворвались в вагон, Шарихан выпрыгнула в окно, я успел заметить, как она мелькнула в гуще «черного люда».

– Выходит, она уцелела!

– Не знаю, родной, не знаю. Раза два или три стреляли...

Надир замолчал. Мы принялись доставать воду из глубокого колодца...

НА ГРАНИ СМЕРТИ

Мой срок подошел к концу. Душа едва держалась в теле: дунь – улетит. Я был, как говорится, при последнем издыхании. Но твердил себе: «Держись, осталось немного, надо жить...» – и вытерпел все-таки тяготы непосильного труда. Все вынес, все выдержал, выжил надеждой.

В дни жестоких испытаний мы поддерживали друг друга, но не сосчитать, сколько любимых товарищей погибло от мук и болезней, скольких перевезли в другие места. Лишился и своей душевной опоры: на какую-то алтайскую шахту угнали Надира с его группой «уцитусань» – «приговоренных без ограничения срока».

В марте начали строить водохранилища. Представьте, как тяжело узникам – обессиленным, едва стоящим на ногах – рыть в мерзлой земле ямы глубиной в три метра и таскать землю за пятьдесят метров? Но и это не все: пришлось, кроме этого, перебрасывать снег в водохранилища – за пять километров...

В те тяжелые дни многие заключенные умерли от натуги, от воспаления легких, от опухолей и нарывов, от обморожения ног. Здоровых почти не осталось, участились самоубийства – люди не выдерживали мук и насилий. Китайская администрация на трагедии такого рода внимания не обращала: мертвецов укладывали штабелями, как дрова в поленницу, обливали керосином, поджигали – и делу конец!..

Однажды случилось нечто необычное. Был среди нас молчаливый парень-турфанец по имени Адил. С людьми он не сходил, держался особняком. «Вина» его была проста, как он сам. Китайские «старшие братья» из пришедшего на станцию поезда забрали у него две корзинки с виноградом и ничего не заплатили. Адил вначале удивился, потом разозлился, схватил одного из «покупателей» и потребовал денег со словами: «Разве твой отец выходил и вырастил виноград в нашем краю?» Вышли пять-шесть «старших братьев», втащили Адила в вагон и увезли. В Урумчи «законники» определили вину: «не уважает старшую братскую нацию» – и приговорили к двум годам заключения.

Этот самый Адил однажды ночью, когда облили керосином и подожгли очередную партию мертвецов, осторожно, ползком подкрался к яме, выхватил у охранника автомат, неистово прокричал: «Мсть! Мсть!» – и нажал на спусковой крючок. Он убил двух охранников, сам прыгнул в огненное море и сгорел в пламени вместе с соотечественниками...

Страшно представить, сколько людей погибло, сколько осталось в ямах, под землей, пока наконец закончили водохранилища...

Еще месяц-два, и мои останки сгорели бы в общем огне. Но однажды меня вызвали в кабинет начальника лагеря.

- Ты свободен, – чиновник в очках изобразил на лице нечто вроде приветливости.
- Вот пропуск, вот продовольственные талоны на дорогу до Чугучака.
Не помню, как взял документы...

III – ЧАСТЬ

«ТЮРЕМНЫЙ ВЫКОРМЫШ»

*Вот маоистские дела:
Страну разграбили дотла,
И наш истерзанный народ
Объедки лижет с их стола...*

Да, у нашего народа отняли все, и он питается объедками из рук пришельцев.

Весной 1966 года, отбыв четыре года заключения, я во второй раз возвращаюсь в Чугучак. Не знаю, с чем сравнить перемены, которые произошли в городе за минувшее время. Человек удивляется, если в доме близких знакомых встречается совершенно посторонних людей, – так и я поразился: в Чугучаке только китайцы. Уйгуров, татар, узбеков, казахов не видать, будто их земля поглотила. Редко-редко попадается какой-нибудь на глаза.

Я освободился из лагеря-зиндана, но лишен права выезжать из Чугучака. Поступить бы работать в какое-нибудь учреждение, на завод или фабрику, а то и в коммуну – и ладно, да ведь таких «клейменных», как я, ни одна организация близко к себе не подпускает. Что делать? Снова проситься в лагерь или зиндан? Не дай бог, лучше удавиться. Но чтобы жить, нужен хлеб. Хлеб! А я беспомощен.

Меня приютил младший брат Давут, и вышло так, что я стал у него нахлебником. Кусок не шел в горло, как-то я даже притворился больным и день-два ничего не ел от смущения и стыда. Давут догадался о моих переживаниях.

– Ну, чего ты стесняешься? Какой прок в смерти? Поделим поровну, что есть, а умереть – вместе умрем... – по-родственному ласково укоряет он меня и сам чуть не плачет. Он делит кукурузную лепешку и придвигает половину мне. Велика сила стыда. У нас говорят: «Стыд убивает мужчину». Я давился каждым куском хлеба, который отнимал у брата. А сочувствие Давута ко мне все росло.

Трудолюбивый брат мой вкалывал на пустой желудок, можно сказать, за двоих. Руководители коммуны не ограничивали трудовое рвение уйгуров. И я не умер с голоду, даже ожил, отошел на некоторое время благодаря любви и великодушию Давута.

Осенью 1966 года газеты оповестили о начале какой-то «культурной революции». Звонкие слова, пышные формулировки давали понять: вот-вот грянут новые страшные политические грозы, начнется еще более сильная встряска. И точно – едва подул первый ветерок, меня вызвали в уездное управление; ты, мол, «ревизионист», «местный националист», отбыл четыре года в заключении... Начинается новое политическое движение, и тебе надо еще раз подвергнуть себя проверке, заявили они, и, наверное, чтобы грядущее не застало их врасплох, открыли собрание и повели со мной «борьбу», не сходя с места.

Что я мог им рассказать? О том, что блуждаю в голоде и страхе? О муках, перенесенных в лагерях и зинданах? «Белые волосинки», эти подлые приспешники-активисты (к тому времени еще не сформировались известные всему миру зловещие шайки «цзаофаней» и «хунвэйбинов»), подняли галдеж, набросились на меня с криками и оскорблениями. Чем могли они испугать «тюремного выкормыша», который столько раз смотрел в глаза смерти? Я сказал лишь несколько слов:

– Вину свою искупил в лагере, вновь провиниться не успел.

Уж кто-кто, а маоисты не упустят случая потрепать нервы человеку:

– Неисправимому упрямцу место в зиндане!

– Тюремный выкормыш достоин только тюрьмы!

Я смеялся в душе – до чего точны были их выкрики.

Маоисты, наверное, поняли, что «репетиция» со мной проваливается, и с наступлением темноты закрыли «собрание борьбы». В ту же ночь я сказал Давуту:

– Теперь мне нельзя оставаться здесь. Придется покинуть родимый кров...

– Куда ты пойдешь, куда?! – тоскливо спросил Давут.

Тоска и меня охватила такая, что я чуть не расплакался.

– Как куда, братец Давутджан? Такие, как я, находят приют в соседней стране.

– А я, я? – В голосе его звучало отчаяние.

Мои нервы выдержали самые ужасные испытания, но сейчас я почувствовал, что слабею. «Самые скорбные муки в мире – муки разлуки!..» – прошептал я, а вслух сказал:

– У тебя родной кров над головой – чего еще надо. Это большое счастье – ходить по милой земле! Ты работаешь, живешь под крышей, пусть и ветхой. Оставайся и будь благополучен, братец...

– Остаться одиноким, как заноза? Нет, куда ты, туда и я.

Мне казалось, что весь домик содрогается от горя. Я и сам готов был зарыдать, но все же взял себя в руки:

– Оставить тебя – все равно, что оставить сердце. Но ты один из корней нашего семейного дерева, и тебе надо быть здесь. Этот край – наша родина, мы унаследовали ее от отцов.

Оба брата, старший и младший, погоревали до рассвета. Они утешали друг друга надеждами на грядущие привольные и счастливые дни.

Утром Давут дал мне еды на три дня и проводил в путь. Нет сил описать горечь нашего расставания...

* * *

В то время всех, кто направлялся на запад, в селения, расположенные у границы Советского Союза, тщательно проверяли. А теми, кто шел на восток, интересовались мало. Я и двинулся на восток, в сторону городка Дурбульджина: вдруг повезет – встречу человека, которому можно довериться. Две ночи скрывался в «божьем доме» – мечети, на третий день увидел в очереди за спичками старого знакомого Айтжана.

– Думал в гости к тебе зайти, а ты тут...

Айтжан покраснел от смущения: не мог покинуть очередь, чтобы вести меня домой. По виду, по одежде я определил, что ему живется не слаще моего.

– Что ты, что ты, разве в такие времена человеку можно обижаться на человека? – успокоил я приятеля.

– Я слышал, на твою долю выпало немало мук, хорошо хоть жив остался. Да один ты, что ли; кого не спроси, ответят: «Тюрьма, лагерь, ссылка».

– Да, родной, так. Не дорожат людьми ни на волосок. Сегодня ты есть, завтра тебя нет.

– Верно, говоришь, Ибрагим. Даже во сне не смеешь спокойно вытянуть ноги... Ну, да ладно... Откуда идешь?

– Из Чугучака.

– А куда?

– Куда бежит петушок, когда нет ни жилья-крова, ни работы, ни пропитания?

– И я такой же «петушок». Друзья в шестьдесят втором перешли к Советам. Я остался – был в Урумчи. И с тех пор «гугу-гок, гугу-гок, то натошак, то – полон зоб», объяснил Айтжан.

Тряхни дерево поздней осенью – вмиг осыплет тебя желтыми листьями. Так и с людьми из Восточного Туркестана: с кем ни заговори – услышишь про горе и скорбь. Мы с Айтжаном как следует поплакались друг дружке и условились бежать вместе в Советский Союз.

– Надо уходить через неделю, в праздничную ночь... Маоисты вон как трубят, грохочут – будут, похоже, проводить какие-нибудь свои торжества.

– Время удобное. Только что делать эти шесть дней?

– Привезу жену из аула...

– А вдруг она не согласится? – с тревогой спросил я. Честно говоря, я боялся, что женщина при побеге окажется только помехой.

– Ее родители уже там. Она меня каждый день уговаривает – уйдем да уйдем.

Обо всем договорившись, мы распрощались. На сердце стало легче – развязывается, наконец, тугой узелок. Я пробрался в свой приют – старую мечеть и, как человек, завершивший важное дело, спокойно уснул, раскинув широко в стороны руки и ноги. Во сне увидел ворота какого-то плодоносного сада, хотел войти в него, но вдруг откуда-то выскочили озверелые, взерошенные собаки. Я испугался, без памяти кинулся обратно. Злые собаки превратились в китайских стражников, навели на меня винтовки. Вокруг стемнело, и вот меня куда-то тащат в крошечном мраке... Я не в силах идти – ослабели ноги. Хочу закричать – нет голоса...

– Цзэйваза! Бандит! – донеслось откуда-то, будто из-под земли. Крик повторился, кто-то несколько раз пнул меня в бедро. С трудом открыл глаза... о, отец небесный! Надо мной стоят два палача-стражника.

– Сладко дрыхнешь, как у матери на коленях, русский щенок! – произнес уйгур. – Мы узнали, что ты бежишь в страну социал-империалистов, пришли за тобой.

Пожалуйста, любезнейший, проходите в машину. – Он насмешливо приложил руку к груди, другую простер к выходу. Где-то я видел этого подлеца с косыми глазами, только не мог вспомнить, где.

– Встать! – заорал он. И угрожающе выкатил глаза. И тут я вспомнил: да это же Патта, гнусный Патта, не человек, а язва.

Тем временем стражник-китаец обхватил мои руки кандалами.

– Попался, негодяй!

Джип помчался к Чугучаку. По обе стороны от меня два стражника с пистолетами. Какая злая судьба! Какое невезение! Полгода не прошло, как освободился из лагеря... Все. Теперь уже не вернешься. На этот раз придется покинуть зиндан не живым, а мертвым...

– Загрустил, что не удалось пробраться к русским братьям? – усмехнулся Патта-косой.

– Попал в точку. А ты, небось, уже забыл, что и тебя и твоего хозяина на машину посадили именно русские, они же тебя и на ноги поставили?

– Кто это тут мой хозяин? Ну-ка говори. Глупец, объевшийся русского навоза! – Патта поднял кулак, но не ударил.

– Да вот он, рядом! – Я не испугался угрозы косоного. Теперь осторожность ни к чему. Буду платить маоистам их же монетой.

– Ты, сволочь, оказывается, с ядовитым языком. Еще пожалеешь...

– Не пугай. Мне нечего жалеть, даже душу. Запомни, что я тебе скажу: вас, национальных предателей, используют и выкинут в помойную яму...

– Не болтать! – прикрикнул будто бы задремавший жандарм-китаец.

Патта сжался. На меня навалились тяжелые мысли. «Кто донес, что я собрался бежать в Советский Союз?» Страшный вопрос не выходил из головы. Я клял себя за неосторожность.

Назавтра началось дознание. Патта возвышался над столом, как медный горшок. Голова его напоминала голову гадюки. Этот перерожденец безгранично уверовал в Мао, бросил себя под ноги проклятому вождю. Он узников не допрашивал, а жалил, приговоры он знал только самые беспощадные: смерть или двадцать с лишним лет заключения. Эту бесчувственную тварь называли в народе и «От куйруком», и язвой, и гадюкой, и другими позорными словами, само имя его стало символом мерзости. Патта рыскал по всем округам и всюду прославился тем, что приносил беду.

«Гадюка» встретил меня обходительно, участливо, будто накануне между нами ничего не произошло. Коротко расспросил о том, о сем и бодро сообщил:

– Отрицание преступления – вина более тягостная, чем само преступление. У нас, уйгуров, тоже говорят: «Что сделал, то сделал – страдай молодцом». Да и что вам скрывать, верно, Ибраимджан?

– Именно так, Паттаджан. – Я сделал ударение на ласковой приставке «джан». – Значит, советуете признаться в преступлении?

– Конечно, выкладывайте все на стол и можете быть спокойны.

– Значит, выкладывать все на стол? – переспросил я.

– Конечно. Расскажите, например, о ваших планах. Я это имею в виду. Каковы они?

– Я бы тоже хотел задать вопрос: как это назвать – то, что человек отбыл срок в тюрьме, в лагере и после этого шесть месяцев принужден слоняться без работы, без пищи? Законно ли так издеваться над людьми?

От моих слов «Гадюка» заерзал на стуле. Он собирался с мыслями, но я не дал ему сосредоточиться:

– Куда идти человеку, если в своей стране, на своей земле, в своем краю его лишили крова, работы, пропитания?

– Все дело в идеологии. Вы стали на гибельный путь, поверив советским ревизионистам, их ложным теориям.

– Если б мы смогли достигнуть уровня советского народа...

– Вот, вот! – Патта вскочил с места, засверкал белками глаз. – Только и знаете – советский, советский! Да когда русские относились к уйгурам по-человечески? Начитались фальшивых советских книг и журналов, насмотрелись пьес и фильмов и голову за русских готовы сложить, а того и знать не хотите, что за всем этим обман, пустота.

– Хорошо, пусть на минуту станет по-вашему. Но что сделали для нас китайские старшие братья? Что несли они нам на протяжении двухсот лет, кроме грабежей, поголовного истребления, отравления ложью?..

– Довольно!

– Великий Октябрь пробудил китайский народ, Советская страна помогла ему в революционной борьбе, привела к победе, а теперь все это оказалось ложью и фальшью? Да оставим политику – на вас вот, к примеру, саржевый костюм, на поясе пистолет «ТТ», перед вами лист бумаги – все ведь это советское, а?!

– Заткни рот! – заорал Патта. Он испугался, глазки его забегали, лицо побагровело.

– В свое время и Мао-чжуси воздал должное помощи Советского государства...

– Как не хвали русских, они не спасут тебя от нас. – «Гадюка» решил прекратить наш спор самым доступным ему способом и снова перешел к угрозам.

– Советская страна существует, она оказывает поддержку подневольным народам, стало быть, терять надежды не следует...

– Да никто ей не верит, кроме таких, как ты, распропагандированных просоветских безумцев! – «Гадюка» подскочил ко мне. – А твои слова – разве не преступление? Дочирикался, глупец!

– Для вас любая правда – преступление! – закричал я. И если бы Патта не вызвал тюремщиков и не приказал запереть меня в камеру, я уж не знаю, что бы наговорил ему и про него самого, и про его «великого вождя».

На следующем допросе я вдруг услышал:

– Ты отрицаешь, что готовился бежать в Советский Союз вместе с Айтжаном?

Патта на этот раз был в роли переводчика. Страшные слова я услышал из уст китайского чиновника и, словно лишившись внутренней опоры, бессильно опустился на пол. Предать друга после того, как пройдены вместе все круги ада, все испытания, – есть на свете что-нибудь более подлое, вероломное? Мы, оказывается, враги сами себе, подличаем, предаем – вот и докатились бог знает до чего. Дальше уж и катиться некуда. Эх, темнота, эх, безволие...

Приговор будет тяжелым – на этот счет я сомнений не испытывал. В последние годы Мао решил искоренить в Восточном Туркестане советское влияние и под предлогом борьбы с «просоветскими ревизионистами» подверг преследованиям тысячи людей, особенно молодых. На Советский Союз полились потоки иступленной клеветы и бесстыдной брани. Достаточно было произнести только два этих слова – «Советский Союз», – чтобы навлечь на себя гонения. Антисоветская кампания набрала полную силу, и я с ярлыком «ревизиониста» превратился в «крупного преступника».

Страшно знать, что ты будешь приговорен к смерти. Ты и не жил по-настоящему, и не любил, и столько не успел узнать. Насилие, печаль, голод, горе – вот весь твой опыт. Неужели наше преступление только в том, что мы из Восточного Туркестана?.. Нет! Нельзя подчиняться несправедливому суду! Надо жить! Я не умру, не умру, не умру!..

Все, кто сидел по делу, похожему на мое, попали под особое наблюдение. Нам организовали усиленный режим. Никаких отношений с внешним миром. Душа моя тоже погрузилась в зиндан. Вера в жизнь погасла. Видимо, и жизнь мне суждено закончить «тюремным выкорышем»... Но зачем погибать от страданий в подземелье? Лучше уж умереть от пули при попытке к бегству! Я было твердо решил бежать. Однако как пройти сквозь массивные стены, мимо охраны, злобных овчарок? И я стал искать другие средства спасения. А что, если притвориться безумным? Только как сыграть роль сумасшедшего? Как заставить хитрых маоистов поверить в твою болезнь? Это в десять раз труднее самого трудного! Но я отважился – я решился на «испытание безумием» и, чтобы не передумать, принес священную клятву, призвав в свидетели друзей, предков, саму любимую родину!

ПЕРВЫЙ ПРИСТУП

Ночь моего «безумия» началась. Я помочился в постель, изодрал рубаху, разбросал клочки. Потом разлохматил волосы, придал глазам бессмысленно-возбужденное выражение, пустил «пувх, пувх...» – пену изо рта, дико захохотал и заколотил ногами в дверь. Швырнул на пол чашки для чая, перевернул вверх дном все в камере. Не останавливаясь ни на миг, закружился волчком. Китайский актер Су Янцзин – я уже третий день сидел не один – побледнел, забился в угол и спросил оттуда испуганно и жалостливо:

– Чего случил, Иблаин?

Тюремщикам подобные спектакли, видно, не в новинку, они заглянули, ни слова не сказали и удалились.

Я перешел ко второму «действию»: уселся верхом на плечи китайца и сдавил изо всех сил ему шею.

– Эй-я! Иб-ла-ин! Пло-хо не я!.. – завопил он. Мне стало жаль его, но ведь сумасшедший – это сумасшедший, он должен творить безумства!

– Человек умирает! Сумасшедший убивает меня! – на помощь Су Янцзин, но тюремщики побаивались «помешанного» и в камеру не врывались. А мне надо было, чтобы в мое «безумие» прежде всех поверил этот китаец-артист. И я то слегка разжимал руки, то снова подминал беднягу под себя – мучил его с воем и понуканиями до самого рассвета.

Утром, когда открыли дверь, чтобы внести завтрак, я швырнул на пол разносчика еды и голышом помчался наружу. Морозы в начале февраля сильные, да что поделаешь, я побежал по снегу к самым воротам и стал прыгать возле них. Часовой на вышке закричал:

– Стой! Стрелять буду! – и взял автомат наизготовку.

Но разве сумасшедший пугается винтовок и автоматов? Безумным долго не прослывешь, если будешь поддаваться страху, холоду, голоду. Стражник не стал стрелять, он закричал:

– Беглец! Держите беглеца!

Как хотелось, чтобы меня поскорее поймали! Я уже успел продрогнуть до костей, одеревенели ноги. Еще минут пять – и мне конец. Тюремщики сами ловить меня не стали, вытолкнули пять-шесть узников поздоровее. Те окружили меня кольцом, как необъезженную лошадь, и набросились сразу все вместе. С диким криком я ринулся на ловцов, как барсук на охотников. Повис у кого-то сзади на плечах, впился зубами в руку. Бедняга в страхе упал ничком. Тут на меня навалились остальные, скрутили по рукам и ногам и водворили в камеру.

Так я сделался признанным помешанным. Я узнал муки страшнее прежних, но отступить было уже невозможно, отступить значило сдаться на милость маоистам. Это было хуже смерти.

«Приступ» не прекращался: и днем и ночью я бегал нагишом, кричал, пускал – «хув... хув...» – пену изо рта. Два дня я вообще ничего не ел. И, к удивлению своему, не чувствовал голода. Товарищ по заключению уговаривает поесть – я прикидываюсь, что не понимаю, таращу глаза. И вдруг вскакиваю ему на спину, кричу:

– Эй, прочь с дороги, едем в Чугучак! – при этом ударяю китайца по ягодицам, словно коня или осла.

Су Янцзин наконец не выдержал, заявил тюремщикам:

– Хоть голову рубите, но в одной камере с сумасшедшим сидеть не буду!..

Меня перевели в другую, где было три узника. Пришлось еще троих убеждать в том, что я помешанный. Бросил для начала на них безумный взгляд, с громким кличем внезапно закружился по камере и кинулся на китайцев. Несчастные растерялись от одного только крика и, как испуганные овцы перед волком, сбились в углу. Я чуть не рассмеялся, но вовремя взял себя в руки: выдрал из их голов по клоку волос, засунул в рот, пожевал и выплюнул им в лица. В отчаянии китайцы попытались повалить и утихомирить меня. Я «в безумной ярости» разбросал по сторонам всех троих. Воплями о помощи китайцы подняли на ноги всю тюрьму. Зашумели узники, закричали: «Человек умер!» Словом, начался страшный переполох. Тюремщики призывали к порядку, угрожали – шум и галдеж только усиливались. Появился, в конце концов, начальник тюрьмы, надменным тоном приказал открыть дверь в мою камеру. Едва дверь отворилась, я с криком: «Да!» – метнулся к нему. Начальник палачей не успел захлопнуть дверь: я ударил его по щеке; этим ударом, поверьте, я доволен и сейчас. Начальник

полетел на пол, я сел ему на шею, но тут уж меня подняли тюремщики – пинали, били до беспамяства.

Я пришел в себя в холодной, сырой камере. На ногах кандалы, на теле – ни одного живого места, от побоев оно стало точно мятая дыня. На четвертый день появился начальник тюрьмы с надзирателями, приказал меня куда-то вести. В подземном застенке меня встретил Патта.

– Прикидываешься сумасшедшим! Не ловчи! Ты против председателя Мао, против партии, ты готов зубами и когтями вцепиться в них! – Он сделал знак тюремщику. Тот распахнул боковую дверь, из-за нее на меня бросилась собака ростом с теленка. Здоровый человек должен был бы дрогнуть, но я не дрогнул. Я сдавил ей глотку, вонзил в глаза пальцы, бешено и дико захохотал. Патта косой попятился и перешел за спину тюремщика. Собака вырвалась и когтями содрала мне левое предплечье; оттуда струей забила кровь. Я смотрел на рану и помирал с хохоту, а через минуту повалился на собаку... Пришел в сознание – смотрю: лежу в завернутый в половик.

О сладость жизни... Чем сильнее мучишься, тем милее жизнь. Я понимал это состояние, находясь на пороге смерти. Перед глазами возникали картины прошлого, друзья, родные, близкие. Я слабо стонал, едва-едва шевеля солеными от крови губами:

– Прощайте, родные... Не увижусь теперь с вами... Не забывайте страдальца, истерзанного печалью и муками... Вам оставляю заветные мечты свои...

Я лежу, бессильно вытянувшись, как лежит давно заболевший человек. Если не ешь три дня, то на четвертый уже не чувствуешь голода. Мучит только жажда, но зато так, что пересыхает в горле и пупок втягивается внутрь. На пятый-шестой день вздувается живот. «Воды, воды, воды», – стонешь ты, веки гноятся, губы слипаются, мерцает свет в глазах. Днем и ночью мерещится только вода, она течет перед тобой, восхитительная, сверкающая. Жажда, оказывается, куда хуже голода. Шесть дней не пьешь воды, и моча, вытекая, постепенно заменяется кровью: в организме истощился запас влаги, выделяется внутримышечная и кровяная жидкость, каждая такая капля – капля жизни...

Прошла неделя. Я не выпил глотка воды, не съел крошки хлеба. И совсем не мог ни двигаться, ни смотреть. Ноги стали стынуть – так, я знаю, понемногу уходит жизнь из тела.

Уловил краем сознания, что пришли следователи. Различил отчетливо слово, оно меня порадовало: «Не умертвишь...» Засунули в рот размоченный хлеб, накапали воды, я вытолкнул все это. В камере что-то забормотали. Пришел тюремный врач Фан Дэйфу. Услышал его слова: «До завтра не доживет...» Едва-едва бившееся сердце заныло. О сладость жизни...

Меня перевезли в больницу. Положили в отдельную палату, приставили надзирателя. Ежедневно кололи глюкозу. Но я все равно не ел. Из перешептываний окружающих узнал: предполагают, будто за моим «сумасшествием» кроется какая-то политическая тайна, поэтому решено меня подлечить и во что бы то ни стало эту тайну выведать.

Глюкоза подействовала – силы стали возвращаться. Состояние мое улучшилось настолько, что охрана начала присматривать за дверями и окнами. Я окреп и уже подумывал о бегстве из больницы. На одиннадцатый день Фан Дэйфу проверил пульс, тщательно осмотрел меня и вынес окончательное решение:

– Теперь не умрет.

Той же ночью меня перевели в зиндан.

ВТОРОЙ ПРИСТУП

Если сольются воедино сильная воля и ненависть к врагам – пройдешь любые испытания, выдержишь самое тяжкое. Меня истязали, а я делался все злее, все неуязвимее, обострились в душе чувство мести, презрение к колонизаторам.

Я прикидываюсь безумным вот уже два месяца. Каждый день, каждый час наполнен страданиями, переживаниями. Следователи, тюремное начальство, поражены моей железной стойкостью, тем не менее, продолжают добиваться у меня признаний, продолжают свои дьявольские пытки.

Выдержать все, выжить и разоблачить перед людьми гнусность маоистских палачей – вот чего хотел я теперь, вот что укрепляло мою волю.

... Со мной теперь другие узники: два уйгура и киргиз. У одного – полное, круглое лицо, он очень добр: укладывает меня, поднимает с постели, подает пить, справляется о самочувствии. Полнолицый старается «разговорить» меня, проливает временами слезу сочувствия, поносит маоистов на чем свет стоит. Я стал размышлять над его поведением. В душу мою запало подозрение. Ведь маоисты часто «подсаживают» шпикив к узникам. Вот полнолицый, он назвался Азизом, погладил меня по голове и лицу и уже подкатился к Салиму и киргизу Кизиру, вызывает их на разговор. Кизир поумнее: он слушает и помалкивает. А Салим – ему только скажи «ну!» – он и пошел вперед. Восхваляет Советы, клянёт маоистов. Не был бы «безумным», унял бы Салима...

– Вот я, – Азиз ударил себя в грудь, – самоотверженно отдаю душу родине, делу освобождения народа!

– А что ты сделал? – коротко спрашивает джигит-киргиз.

– Делал!.. Входил в организацию «Уйгурстан»...

Я, кажется, правильно понял полнолицего. И киргиз, по-моему, тоже.

– Если б мне жить по-твоему, я б ни о чем больше и не мечтал! – брякнул доверчивый Салим.

– Эх! – вздохнул Азиз. – Тюремное заключение приносит не один только вред: я стал значительно опытнее, крепче. Теперь, если выйду, создам прочную, как сталь, организацию, начну готовить вооруженное восстание...

Излияния Азиза грозили никогда не кончиться. Я лежал неподвижно, обдумывая, как избавиться от окаянного подлеца. Киргиз просто повернулся к нам спиной:

– Давайте спать.

А Салим загорелся:

– Меня поймали, когда я собрался бежать в Советский Союз. Если выйду из зиндана, оставлю всякие там Советы, примкну к таким героям, как ты.

– Совершенствуйся, Салим! И в черном зиндане можно умножать наши ряды, – полнолицый радовался легкой добыче.

Беседы между Салимом и Азизом продолжались не один день. Азиз впился в Салима, как черная пиявка, выяснил все, что было у того на душе, разузнал даже о намерениях близких Салиму людей.

Надо было что-то предпринимать. К тому времени я успел поднабраться сил. Лежал, ждал удобного момента для расправы с Азизом. Да не годится сумасшедшему лежать тихо. Должны же у него быть приступы!..

И момент настал. Азиз затребовал бумагу и ручку: «Буду жаловаться в высшие инстанции». Принялся что-то писать.

Приступ начался: я внезапно вскочил, вцепился в волосы шпики, повалил его и прижал к полу, мыча свое привычное «хув, хув». Салим завопил от страха, заколотил в дверь. Киргиз начал собирать с пола рассыпанные листки. Наверное, он успел прочесть слова: «Признания Салима», потому что вдруг в ярости вырвал шпики у меня из рук. От

удара тяжелого, как камень, кулака киргизского джигита шпик, словно тыква, отлетел, к стене, ударился головой о глиняный чан с водой.

Я опять сел на Азиза верхом.

– Погань! Изменник! Предатель! – проклинал шпиона Кизир. – Такие страдания видит, да еще шпионит!

– Вот как?! – Салим начал соображать, в чем дело. Он оттеснил меня от шпика и бросился на него. При каждом ударе Салим приговаривал:

– Вот тебе, шпик-революционер, – и плевал в лицо Азизу.

Тюремщики слышали, конечно, шум и гам в нашей камере, но даже не заглянули в дверь – привыкли, видно, к моим «безумствам». Мы затихли. Я вытянулся в изнеможении. Полумертвого шпика тоже уложили в постель. К ночи предатель пришел в себя. Он встал на колени перед Салимом – просил прощения, каялся и на семьдесят ладов зарекался шпионить. Не знаю, чистосердечно ли каялся Азиз, но от нас его убрали. С того дня Кизир и Салим, поняли, что я прикидываюсь сумасшедшим. Случай со шпионом сдружил нас. Оба товарища по камере ухаживали за мной, как за малым ребенком. Убеждали тюремщиков, что я сумасшедший, а заключенным всех национальностей сообщали, что меня подвергли беспримерным пыткам и тем самым довели до истощения и безумия. Узники возмущались, протестовали: незаконно держать в зиндане умалишенного. Но разве закон соблюдается в беззаконном государстве? Маоистские палачи в ответ на ропот заключенных установили для меня еще более жесткий режим.

Однажды страшной тюремной ночью загремели засовы, открылась окованная железом дверь, и вслед за тюремщиками вошел Патта-Косой. Сумасшедший не должен спать, и я бодрствовал, потому что выпался под охраной Кизира и Салима. Я бросился на Косого – не для того, чтобы продемонстрировать «сумасшествие», нет, просто в душе проснулось непреодолимое желание расправиться с национальным предателем. Двое палачей-тюремщиков перехватили меня, скрутили руки и с силой посадили на пол.

– У тебя железный характер. Но чего ты добился за четыре месяца мучений?

Я делал вид, что не слушаю Патту, сохраняя бессмысленное выражение лица.

– Даю тебе последнюю возможность: завтра с утра перестанешь притворяться сумасшедшим и ясно скажешь о своих намерениях. В противном случае увидишь такое, чего еще не видел! – «Гадюка» поспешно выскользнул из камеры.

– Какие подлые! Какие жестокие!.. – проговорил Кизир, когда тюремщики убрались. А простодушный Салим начал всхлипывать.

Я пытался успокоить товарищей:

– Если Патта будет рядом – выдержу любые пытки.

– Почему?

– Как увижу его – моя ненависть к маоистам удваивается.

– О боже, – вздохнул задумчиво Кизир.

– Да поможет тебе сам Аллах, – проговорил сквозь рыдания Салим.

Назавтра меня перевели в другую камеру. Там меня ждал незнакомый врач-китаец с совершенно голый головой. Лысый доктор так озорно и лукаво поблескивал мышинными глазками, что я сразу понял: начинается новая игра – и усилил проявления «безумства»: помочился в пищу, палочками для еды отстучал на лысине китайца «барабанную дробь», набрал в рот смешанного с мочой хлеба и заплевал ему физиономию.

Плешивый лекарь целый месяц терпел мои проделки. Наконец, перед тем как уйти, он долго, очень долго смотрел на меня, покачал головой и сказал:

– Таких негибавых людей я встречал среди чаньтоу¹² немного. Ты затратил много сил на притворство. Если бы их направить на другие цели, получились бы, наверное, блестящие результаты.

Лысый врач написал в заключении: «... Он не сумасшедший».

Китайцы понимали, что у моего «безумия» были тайные серьезные причины. Любыми путями они стремились выведать мои скрытые намерения, а также то, с кем я связан. Поэтому меня не убили, а продолжали истязать – добивались признания.

Наступили летние дни. Непереносимо жарко стало не только на открытом палящем солнце, но и в удушливо-влажной тюрьме, недосыгаемой для солнечных лучей. Вдобавок среди заключенных началась дизентерия. Тюремщики не успевали выносить трупы, мертвецы лежали в камерах по несколько дней, гнили, и эпидемия разрасталась еще сильнее. В августе 1967 года в чугучакской тюрьме из нескольких тысяч заключенных остались в живых всего около двухсот узников и в их числе я – «железный безумец».

Ко мне стали применять новые пытки. Скажем, «солнечную сушку». Мокрой бечевкой из конопли обматывают руки и ноги, бросят ничком на песок в тюремном дворе под июльское солнце – «на просушку». На раскаленном, как зола, песке поджариваешься, словно кукуруза, до пузырей. Потом пузыри лопаются. Язык разбухает и вываливается наружу, в мозгу стучит, глаза лезут из орбит.

Лежу, терплю. Передо мной, чтобы подразнить, ставят ведро холодной воды. Всего минуты хватит, чтобы напиться... Для обгоревшего на солнце иссохшего тела вода – это великое блаженство, огромное счастье. Но пить нельзя. Если потянусь к воде – выдам себя и придется покориться злобным врагам.

Даже сейчас помню, как шептал про себя, теряя сознание: «Выдержал... и еще выдержу...». Ведро сверкающей голубоватой воды посреди тюремного двора даже теперь то и дело возникает перед глазами.

Прошел еще месяц. Меня держали в отдельной камере, чтоб остальные не видели, во что я превратился. Мою спину – она стала похожа на печеное яблоко – понемногу подлечили. Продолжали колоть глюкозу.

– Всему есть предел, Ибраим, – Патта провел ладонью по моей голове. Я насилу удержался, чтобы не вздрогнуть от прикосновения его холодной, как змея, руки, чтобы не закричать: «Прочь!» – Ты зря мучаешься уже десять месяцев. Тебя отсюда не выпустят, пока не узнают твоих намерений. Пусть я по-твоему дурной человек, но все-таки я тоже уйгур и жалею тебя...

Патта не договорил. Я шелохнулся. «Подействовало!» – решил, наверное, он и впился в меня взглядом. Предатель возбудил во мне ярость словами «я тоже уйгур», но я не издал ни звука, сдержался. Патта пошел распинаться: и работает он поневоле, и собственная его жизнь висит на волоске, главным образом из-за того, что он сочувствует своим обреченным землякам, хоть те и знаясь с ним не желают... Слова его впивались в уши, как иглы.

Через неделю после этого посещения Патты меня пытали снова. Вывернули руки, привязали к балке, подвесили на шею камень килограммов примерно на десять. Пытка эта носит название «янтарь» и не уступает прочим. Конопляная бечевка под тяжестью камня постепенно врезается в шею, от сильной боли выступает пот. Человечье мясо состоит, наверное, из одного жира; на что уж у меня, кажется, только кожа да кости, и все-таки отовсюду, особенно из глаз выступили и потекли струйками желтоватые капельки жирного пота. Под палящим солнцем этот пот становится едким и жжет тело, словно брызги раскаленного масла...

¹² Чаньтоу (кит.) – букв, чалмоносец, пренебрежительное название мусульман.

Я слушал Ибрайима и страдал вместе с ним. Какой ужас, что подобные вещи возможны в наши дни!..

– Вот он, знак «янтаря» на моей шее, – Ибрайим тем временем расстегнул воротник и показал мне шрам от страшной раны.

Тридцать пять лет назад я тоже был схвачен гоминьдановцами. На голову мне натянули мешок, связали за спиной руки, бросили в машину... Я показал Ибрайиму «печать истории», врезавшуюся в мою левую руку во время пути из Кульджи в Урумчи, и предложил:

– Сегодня мы долго шли путем тяжких переживаний. Давайте подышим теперь свежим воздухом, пройдемся по дороге на Медео.

ТРЕТИЙ ПРИСТУП

Как все нормальные люди, я хотел свободы, здоровья, покоя. На мою долю, увы, выпали одни муки и унижения. Однако благодаря им я осознал всю ценность свободы и независимости. И тогда я ощутил себя борцом, идущим сквозь все преграды к осуществлению великой цели. Мое заветное желание – уйти в Советский Союз. И его не сломят ни пытки, ни унижения!

Достать бы водолазный костюм и бежать по дну реки Или! А может уплыть в лодке? Или изготовить воздушный шар и в бурю улететь на нем?.. Все это грустные мечты, далекие от действительности, но они радуют сердце, успокаивают душу. Потому что я живу только надеждой и верой.

Мечты мои прервал стук открываемой двери. Это Патта-Косой. Ночной приход – предвестник смерти. «Вот и конец. Пришел мой час...» – прошептал я, и в сердце что-то оборвалось.

– Минута срока, – будничным голосом сказал Патта. – Не ответишь – даже и раскаяться не успеешь!

«Значит, убьют сегодня», – пронеслось в голове.

– Взять! – заорал Патта, не дождавшись ответа.

– Привязывайте! – приказал он по-китайски, косясь на меня краем глаза.

Тюремщики растянули мои руки и привязали к двум вбитым в землю железным кольям, ноги просунули сквозь деревянную колодку. Левую руку, подтянув под нее маленький столик, крепко привязали резиновой бечевкой. Зловещие приготовления. Какой же будет пытка? Я напрягся. Только бы не ослабить волю – выдержать до конца, терпеть, еще терпеть и опять терпеть...

– Начинайте! – велел Патта.

Появился уже знакомый плешивый лекарь. Во мне заклокотала злость. Я еще раз принес клятву: «Во имя родины, во имя народа, во имя таких же, как я, обреченных узников, не поддамся врагам...»

Лысый лекарь достал из коробки длинную иглу, прицелился мне в глаз – это была, наверное, психическая атака. Потом он крепко сжал мой большой палец и постепенно начал вгонять иглу под ноготь... Ох, не приведи господь испытать такую пытку даже врагам нашим... Игла вонзалась словно не в ноготь, а в сердце и жалила душу. Чтобы было страшнее, иглу вытащили и вновь вонзили... Не знаю, как у меня хватило терпения. Но я лежал неподвижно, будто мертвый, широко раскрыв глаза. Палачи не спускали с меня взгляда, словно созерцали какое-то чудо. Как им хотелось уловить малейшее движение! Сумасшедший ничего не ощущает, у него даже не расширяются зрачки, когда ему под ногти вгоняют иглы. Потому-то маоистские палачи и не сводили с меня глаз!..

Медик не удовлетворился первой попыткой. Взяв толстую иглу, какой шьют мешки, он вонзил ее мне в носовой хрящ и начал продвигать ее внутрь и вверх. Игла углубляется, как сверло, мозг оглушает нестерпимая боль – и я теряю сознание...

– Какой он породы – человеческой или от семени окаянных джиннов? Не кается и не погибает! – услышал я голос Патты.

– Видите, лицо вздулось, стало, как сырая тыква. Четыре дня прошло, а он только сегодня глаза приоткрыл, бедняга...

– Бед-ня-га?! – перебил Патта медсестру. – Жалеть врагов – значит, проявлять непокорность Мао!

– Простите, – испугалась девушка. Ее мелодичный голос показался мне знакомым.

– Будьте осторожны с ним, – тихонько, шепотом предупредил Пат та.

– А когда заберете?

– Как поправится... – Дальнейших слов я не расслышал. Зато понял, что не умер, а жив и лежу в больнице.

... Наступила весна. Ожила природа. Я лежу, смотрю сквозь решетки больничных окон. Рождается новая жизнь. На ивах набухли почки. Мне кажется, что я и сам крепну, что и в мои жилы вливается бодрость. Каждый весенний рассвет омолаживает душу, заживляет израненное тело, усиливает веру в будущее. Той весной я таинственным образом стал крепнуть день ото дня.

– Вам что-нибудь нужно? – спросила медсестра.

Я не ответил. Ведь я «безъязыкий, бесчувственный сумасшедший»! Но два дня тому назад я припомнил, где видел эту девушку. В 1962 году на автовокзале в Урумчи. Казашка чувствовала себя одинокой в вокзальной сутолоке, ее грустное смуглое лицо взывало о сострадании. Я помог ей, своей землячке, продовольственными талонами...

– Я говорю: мы не знаем даже имен ваших родителей...

– Ох! – Я и сам не заметил, как вырвался этот стон. Ах, мама, мама... Девушка-казашка напомнила о родителях, и я забыл обо всем на свете, простонал свое «Ох!». Сколько месяцев пытали меня маоистские палачи, но не вытянули ни единого звука. А эта девушка улучила момент, произнесла священные слова – и вот, пожалуйста, «безъязыкий сумасшедший» заговорил!

– Ибрагим-ака, не тревожьтесь, я сохраню возле сердца вашу тайну...

Я поверил в ее честность. Не мог не поверить. И с того дня Саркит тайком подкармливала меня, приносила витамины, чтобы восстановить силы. Когда вокруг не было ни охранников, ни лишних ушей, мы коротко переговаривались. Медицинская сестра, приставленная Паттой, чтобы шпионить за мной, не дала маоистам нужных им сведений: наоборот, она старалась убедить их, что я «полоумный». Жемчужина и среди мусора остается жемчужиной – Саркит сохранила честность и благородство...

Как-то она вошла растерянная.

– Вас хотят увезти в тюрьму, – прошептала тихонько на ухо.

– Сегодня?

– Да.

– Ох-х! – Меня будто ударили дубинкой по голове – стало темно в глазах.

До этого Патта навещал меня каждый день – все приглядывался, а тут уже два дня не появляется. Вместо него приходит медсестра-китаянка, чтобы наблюдать за мной вместе с Саркит. Прошлой ночью Саркит уговаривала меня бежать, но я не посмел, боялся подвести девушку. Когда-то, давным-давно, то же предлагала Салима...

– Увезут, а там кто знает... – Саркит не договорила, всхлипнула, закрыла лицо руками, вышла.

Спустились сумерки – тихо. Настала ночь.

Во время осмотра больных в соседней палате Саркит на мгновение заскочила ко мне:

– Вас оставили до завтра, сегодня суматоха со смертниками. – Она дрожащими руками достала из кармана коробочку спичек, подала мне что-то похожее на свечной огарок. – Когда караульный уснет, подымите этим перед его носом, – и выскочила.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИСТУП

Свет в больнице гасят в десять часов. Постепенно опускается жуткая тишина. Никаких звуков, кроме слабых голосов, да и те доносятся, как из-под земли. Я прислушиваюсь к каждому шороху, даже к шуршанию колышущихся под слабым ветерком ветвей за окном, – и ничего не слышу. А может, все звуки заглушает грохот сердца – оно бьется в каком-то отчаянном смятении. Я вслушиваюсь изо всех сил, я слежу за Паттой, все мое внимание сосредоточено на нем. Окаянный выродок пришел сам посторожить меня в последнюю ночь. Наверное, он решил подслушать мой ночной бред и получить какую-нибудь информацию.

Ночи стали гораздо короче. Патта прилег в одежде возле двери. Захрапел было, но потом снова затих. Наверное, борется со сном. Проскрипело где-то окно: видимо, сестры, перед тем, как лечь, проветрили комнату. Заветное мгновение близко. Еще несколько минут – и решится моя судьба. Шестнадцать месяцев я пробыл сумасшедшим, тринадцать раз меня пытали, – осталось совсем немного, считанные мгновения...

Падаю с кровати, какое-то время не шевелюсь, лежу на полу – Патта не услышал. Только тихонько взвизгнул по-собачьи во сне, повернулся на бок.

В душу заползло страшное подозрение: «Хитрец! Прикидывается спящим...». Лежу тихо, живот будто приклеился к полу. Через две-три минуты Патта опять захрапел. Я встал на четвереньки, зажег полученную от Саркит «свечу», поднес к носу предателя. Патта сильно чихнул, но не пробудился. Какой момент! Можно отомстить, беспрепятственно – удушить изменника. Я в нерешительности остановился, но передумал.

Осторожно взобрался на подоконник. Снова прислушался: нет, Патта спит глубоким сном. Надел халат в рукава, шепнул:

– Была, не была! – И прыгнул во двор.

Огляделся по сторонам: все тихо, спокойно. Юркнул к задней стене больницы, вскарабкался на нее и, как все беглецы, вручив себя судьбе, нырнул в спасительную темноту ночи...

Снег уже стоял, по оврагам и лощинам текли ручьи, земля пробуждалась к жизни. Бегу, не ощущая ни студеного ветра, ни того, что босые ноги коченеют на льду. Напрягаю все силы, задыхаюсь, но иду и иду вперед, падаю, встаю, спотыкаюсь, взбираюсь на вершины холмов, потом спускаюсь в низины... Внезапно передо мной возник сад с полуразрушенными стенами. Чуть ли не три часа пробуждал я в этом саду! В конце концов, через какой-то пролом вышел на дорогу. Сад, похоже, вытянул из меня все силы, я в изнеможении опустился на землю. Однако, сообразив, что скоро рассвет, двинулся дальше. Прошел немного – и увидел свет электрических ламп. «Дошел!» Тело налилось силой, я побежал – быстро, как только мог. Вот и он, большой мост! Взглянул внимательно уже с моста... О, горе! Лампы – это же уличные столбы! Я пришел к больнице, откуда бежал...

Что теперь делать? Где спрятаться, куда бежать? Я проклял свою судьбу, обрекшую меня на тюрьмы и застенки.

Послышался стрекот мотоцикла. Пришлось спрятаться под мост.

Два мотоцикла устремились в сторону границы. Теперь пробираться к границе невозможно – впереди ждут преследователи. Придется скрыться в городе. Оборвал рукава рубахи, обернул ими ступни – что бы не оставлять следов, и пошел.

Дважды проскакали конные стражники – спрятался за деревом, потом за стеной. Преследователи спешили к границе...

Я подкрался к дому Нури-аксакала и долго стоял, не решаясь постучать. Наконец тихонько поцарапался в окно. Из дома донесся голос:

– Кто там?

– Откройте дверь, аксакал, скорее...

– Кто ты? – спросили с беспокойством.

– Ваш родственник...

Едва дверь приоткрылась, я ворвался в дом. Аксакал, видимо, испугался, попятился.

– Я бежал из тюрьмы. Дайте хлеба, хлеба!

Старик и старуха со свечой в руках будто лишились речи, окаменели, увидев перед собой «призрак».

– Не бойтесь, я Ибрагим...

– Ты Ибрагим? О святые! – Нури-аксакал ухватил в горсть белоснежную бороду.

– Дядя Нури, дайте мне что-нибудь надеть и еды на два дня.

– Ладно, ладно, сынок. Дам все, что есть, ничего не пожалею! А ты отдохни. Выпей горячего чая. – Старики говорили с глубоким участием. Нури-аксакал беспрестанно повторял: «О господи! О боже мой!..»

– Не ешь много на голодный желудок, сынок нельзя, – предупредил дедушка Нури, когда я, пока наливали чай, проглотил кукурузную лепешку. – Куда ж ты направляешься?

– Для меня сейчас только один путь – уходить к Советам, – ответил я, глотая чай.

– Мы можем спрятать тебя на денек-другой...

Я не остался у стариков. Боялся свергнуть их в беду. Надел подаренную ими одежду, положил за пазуху три кукурузных лепешки и распрощался.

Старик со старухой нежно благословили меня:

– Пусть господь будет тебе опорой, сынок!

Я отправился не на запад, а на восток. Прикинул, что до наступления утра еще часа два времени. Километрах в трех находится селение Сянгун, а на краю селения домик Кадыра-тамчи – строителя глинобитных домов. Туда надо дойти до утра. Силенок маловато, но беру упорством, бреду без дороги по рытвинам и ухабам. Уже посветлели звезды на небе, начал заниматься рассвет, а Сянгун будто куда-то отодвинулся, его все еще не видно. Тащусь еле-еле, но пусть темнеет в глазах, пусть перестану видеть землю – все равно буду изо всех сил двигаться вперед! Одну из трех лепешек я уже съел, чтобы хоть немного поддержать себя. Чуть-чуть передохнул и из последних, из самых последних сил поплелся дальше. Ух, вот он, Сянгун...

Постучал в дверь Кадыра и рухнул в беспамятстве на землю – кончились силы. Строитель-тамчи узнал меня, поднял на руки, внес в дом. Он разжег огонь в печке, дал мне горячего чая. Я открыл, наконец, глаза, но никак не мог поверить, что возвращаюсь к жизни. Ноги опухли, руки не двигаются. От нервного беспредельного напряжения я даже говорить не мог, голова стала тяжелой и не поднималась. Глаза не различали предметов, все двоилось, и я ничего не мог с этим поделать.

– Со мной случилось что-то... А у вас найдут мертвеца... Я не хочу... Я уползу... подальше от дома... Мертвеца найдете и захороните...

– Не болтай, мальчишка! – крикнул Кадыр. – Я тебя не выпущу! Будешь здесь, пока не заживут руки-ноги.

Кадыр спрятал меня в чулане. Кормил дважды в день, присыпал болячки каким-то своим лекарством, осторожно перевязывал. Днем он работал в коммуне, а по ночам мы говорили – делились сокровенными мыслями.

Прошло дней пять.

– Сегодня, – сказал в волнении Кадыр-тамчи, – собрали всех членов коммуны. Говорили: если кто встретит тебя – чтобы хватали на месте или сообщили в охранное отделение.

– Значит, пора уходить!

– А силенки-то есть?

– А как же? – шутливо прихвастнул я. – Даже через Музарт смогу перейти!

Я и в самом деле окреп.

– Ну, тогда ладно, – согласился Кадыр-тамчи.

В тот день он вернулся домой пораньше. Сварил кусок сушеного мяса, хранившегося в топленом масле, и накормил меня досыта. От мяса, от горячего супа беглец разомлел и прилег перед дорогой. Но в десять часов я уже надел на ноги кожаные плетеные чокай, завязал в пояс еды на два дня...

– Видишь Большую Медведицу на небе? Иди так, чтобы она оставалась у тебя справа. Пока она исчезнет, доберешься да границы.

– Будьте здоровы, до свидания, дядя Кадыр!

Тамчи поднял к небу руки, прочел мне вслед благословение. На этот раз я шагаю уверенно. Справа сияет Большая Медведица – мой спасительный ориентир. Миновал «вооруженных крестьян-ополченцев», они копали арыки и каналы. Перебрался через шоссе. Приблизился к какой-то новой стройке, и в этот миг передо мной внезапно возникла группа китайцев с фонарями. Я замер, не решаясь двинуться.

Они приближаются. Я опомнился, прыгнул в только что вырытый арык. Китайцы подошли метров на пять – на шесть, остановились. Двое ушли вперед, остальные топтались на месте, словно сторожили меня. «Те пошли за охранниками, – тревожно подумал я. – Будь что будет – вперед!» Я пополз по дну арыка. Плоские камни изодрали мою одежду, истерли в кровь руки. Боль страшная.

Я отполз метров на сто, осторожно выглянул: китайцы копошились у перемычки арыка. Я успокоился и пошел дальше.

Миновал овраги и рытвины, вспаханные поля, вышел на нетронутую целину. Посмотрел на небо: Большая Медведица прилегла на бок, вот-вот спрячется. В ушах звучал какой-то таинственный голос: «Держись, держись – немного осталось!» Я прошептал:

– Граница, граница! – И со всех ног бросился вперед.

Заходило сердце, в ушах свистел ветер, но я бежал и бежал из последних сил, ничего не видя перед собой и не помня. И вдруг налетел с разбега на проволочное заграждение. Повис на нем.

Придя в себя и открыв глаза, на сей раз я не увидел китайских жандармов: передо мной стояли два советских пограничника, на шапках у них сияли звездочки с серпом и молотом...

На этом кончается мое скорбное повествование.

Зия СӘМӘДИ

ДӘРТМӘННИҢ ЗАРИ

ИСПЫТАНИЕ БЕЗУМИЕМ

пақиәлик қиссә

Нәширгә тәйярлигучи-мунәррир *Риза СӘМӘДИ*
Корректор *Юлтузай СЕМӘТОВА*
Тех. муһнәррир *Суфия СУЛТАНОВА*
Дизайн *Зухра ЖАМИЕВА*

«МИР» нәшрияти.

Алмута шәһири, Жибек-Жолы, 64, 3 офис

Телефон: +7 (727) 273-39-89,328-12-66

Қазақстан Жумһурийити Полиграфкомбинат ЖЧШ “Атамұра корпорацияси”,
050002, Алмута шәһири, М.Мақатаев кочиси, 41.